

Вдали от обезумевшей толпы

Автор:

Томас Гарди

Вдали от обезумевшей толпы

Томас Гарди

Романы характеров и среды

Романтическая драма, первый литературный успех английского писателя Томаса Гарди, одна из первых книг о героине с чертами феминистки – независимой хозяйке фермы, внимания которой добиваются трое: богатый джентльмен, отчаянный сержант и рассудительный фермер. Нелегкая проблема женского выбора и все «прелести» сельской жизни – в романе «Вдали от обезумевшей толпы».

Томас Гарди

Вдали от обезумевшей толпы

Перевод с английского

М. Богословской (вступление, главы I–XXVIII),

Е. Бируковой (главы XXIX–LVII)

© Богословская М., перевод на русский язык. Наследники, 2015

© Бирукова Е., перевод на русский язык. Наследники, 2015

* * *

Вступление

Готовя эту книгу к новому изданию, я вспомнил, что именно в главах романа «Вдали от обезумевшей толпы», в то время как он выходил ежемесячно в одном из популярных журналов, я впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему фиктивное значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство. Задуманная мною серия романов в большей степени связана местом действия, и для того, чтобы сохранить это впечатление единства, требовалось дать какое-то определенное представление о территории. Поскольку я видел, что площади какого-нибудь одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна, и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название. Местность, охватываемая им, известна довольно смутно, и даже весьма образованные люди нередко спрашивали меня – где это, собственно, находится? Однако и читающая публика, и печать отнеслись вполне благожелательно к моему причудливому плану и охотно признали допущенный мною анахронизм, позволявший вообразить себе обитаемый Уэссекс, существующий при королеве Виктории; Уэссекс сегодняшнего дня, с железными дорогами, почтой, сельскохозяйственными машинами, общественными домами призрения, серными спичками, землепашцами, умеющими читать и писать, и казенными детскими школами. Но я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что до того, как этот современный Уэссекс на месте теперешних графств появился в моей повести в 1874 году, его никогда не было и в помине ни в литературе, ни в разговорах. И, встретив такое выражение, как «уэссекский пахарь» или «уэссекский обычай», всякий подумал бы, что речь идет о давних временах – эпохе не позже норманнских завоеваний.

Мне не приходило в голову, что применение этого слова в изложении современных событий выйдет за пределы моей хроники. Но оно было очень скоро подхвачено, первым применил его ныне уже не существующий журнал

«Экзаминаер», который в своем выпуске от 15 июля 1876 года озаглавил одну из своих статей «Уэссекский пахарь», причем статья была посвящена не сельскому хозяйству англосаксов, а современному положению крестьян в юго-западных графствах.

С тех пор это название, которое я приурочивал к вехам и ландшафтам наполовину существующего, наполовину выдуманного края, все больше и больше входило в обиход как подлинное обозначение некоторых наших провинций. И постепенно мой вымышленный край обрел черты вполне реальной местности, куда люди могут поехать, снять себе дом, писать оттуда в газеты. Но я прошу моих добрых и склонных к фантазиям читателей не тешить себя этой мыслью и не верить, что жители викторианского Уэссекса существуют где-либо помимо этих книг, которые подробно рассказывают об их жизни, разговорах и нравах.

Более того: тому, кто попытался бы разыскать в какой-то существующей ныне местности селение по имени Уэзербери, где происходит большая часть действий, описанных в моей хронике, вряд ли удалось бы это сделать собственными силами, хотя еще сравнительно недавно, когда писалась эта повесть, можно было без труда найти близко соответствующие описанию приметы местности и черты действующих лиц. По редкой счастливой случайности еще сохранилась нетронутой описанная мною церковь и несколько старых домов. Но старинная солодовня – достопримечательность прихода – снесена уже двадцать лет тому назад, и большинство домиков с соломенными крышами и слуховыми окнами разделили ту же участь. Прекрасный старинный дом героини перенесен в моей повести, по крайней мере, на милю от того места, где он действительно находится, но если не считать этого, он и по сию пору, и при солнечном и при лунном свете, выглядит точь-в-точь так, как он описан. Игра в бары, которая совсем недавно чуть ли не круглый год велась с неослабеваемым азартом перед обветшалой хлебной биржей, теперь, насколько мне известно, совсем не в чести у современных ребят. Гадание по Библии с ключом, письма на Валентинов день, чему придавалось такое важное значение, ужин по окончании стрижки овец, длинные балахоны стригачей, празднества после уборки хлеба – все это исчезло вместе со старыми домами, а вместе с этим исчезли и посиделки с выпивкой, которые так любила старая деревня. Коренной причиной всех этих перемен было совершившееся недавно постепенное вытеснение постоянного класса местных жителей, поддерживавших местные традиции и обычаи, и замена их сезонными рабочими, переходящими с места на место. Это оборвало течение истории местного края, ибо необходимое условие для сохранения преданий, фольклора, тесных

взаимоотношений и своеобразных типов, характерных для этой среды, – это крепкая привязанность к почве, к одному месту, где рождаются, растут и сменяются одно поколение за другим.

Т. Г.

1895–1902

Глава I

Портрет фермера Оука. Происшествие

Когда фермер Оук улыбался, губы у него так расплывались, что углы рта оказывались где-то возле ушей, а глаза становились узенькими щелками, и вокруг них проступали морщинки, которые разбегались во все стороны, словно лучи на детском рисунке, изображающем восход солнца.

Звали его Габриэль, и в будние дни это был рассудительный молодой человек, одетый как полагается, державшийся спокойно и просто, словом, во всех отношениях вполне положительная личность. По воскресеньям это был человек несколько неопределенных взглядов, склонный к медлительности и скованный в движениях своей праздничной одеждой и зонтом, словом, человек, сознающий себя частью того обширного срединного слоя ни во что не вмешивающихся лаодикеев, который отделяет благочестивых прихожан от пьянствующих низов прихода; скажем так, он ходил в церковь, но посреди службы задолго до «Символа веры» уже начинал позевывать, а когда дело доходило до проповеди, он, вместо того чтобы внимать ей, раздумывал о том, что у него нынче будет на обед. Ну, а если характеризовать его, исходя из общественного мнения, то можно сказать так: когда его друзья и судители бывали не в духе, они говорили, что он никудышный человек; когда они бывали навеселе, он становился «славным парнем», а в тех случаях, когда они были ни то, ни другое, он слыл у них не черным, не белым, а чем-то средним, или, как говорится, – серединка на половинке.

Так как будничных дней в жизни фермера Оука было в шесть раз больше, чем воскресных, то все, кто видел его изо дня в день в обычной рабочей одежде, не представляли его себе иначе, как в этом естественном для него, затрапезном виде. Он всегда ходил в войлочной шляпе с низкой тульей, примятой и раздавшейся книзу, потому что в сильный ветер он нахлобучивал ее на самый лоб, и в теплой куртке, наподобие душегрейки доктора Джонсона. Его нижние конечности были облачены в толстые кожаные гетры и исполинских размеров башмаки, в которых каждой ноге предоставлялось просторное помещение такого добротного устройства, что обутый подобным образом мог целый день простоять в воде и не почувствовать этого; создатель этих башмаков, человек совестливый, все погрешности кроя старался возместить беспредельностью размера и прочностью.

Мистер Оук всегда носил при себе серебряные часы, по форме и назначению карманные, но по размеру скорее напоминавшие небольшой будильник. Этот механический прибор, будучи на несколько лет старше деда фермера Оука, отличался тем, что он либо спешил, либо останавливался. Кроме того, его маленькая часовая стрелка время от времени соскальзывала, и таким образом, если даже минуты отмечались с безошибочной точностью, никогда нельзя было быть уверенным, к какому они относятся часу. Со свойством своих часов останавливаться Оук боролся постукиванием и встряхиванием, а от каких-либо дурных последствий двух других недостатков спасался тем, что постоянно проверял время по солнцу, по звездам или же, прильнув лицом к окну своих соседей, старался разглядеть на зеленом циферблате их стенных часов местонахождение часовой стрелки. Следует еще заметить, что карман, в котором Оук носил часы, был чрезвычайно трудно достижим, ибо он помещался в самой верхней части пояса его штанов, пристегнутого высоко под жилетом; поэтому, чтобы достать часы, Оук вынужден был откинуться всем туловищем в сторону, и когда, весь мучительно сморщившись, так что лицо и губы превращались у него в сплошной коричневато-красный комок, он наконец ухватывал цепочку и вытаскивал часы, это было похоже на то, как тащат ведро из колодца.

Но если бы какой-нибудь наблюдательный человек встретил его в то декабрьское утро – солнечное и на редкость мягкое, – когда он шагал по одному из своих загонов, возможно, у него сложилось бы иное представление о Габриэле Оуке. Лицо этого вполне взрослого мужчины еще сохранило совсем юношескую мягкость и свежесть красок, и даже что-то мальчишеское нет-нет да и проскальзывало в его чертах. Его рослая, широкоплечая фигура, несомненно, привлекала бы внимание, если бы он только держал себя с подобающей

внушительностью. Но у некоторых людей, как у горожан, так и у крестьян, их манера держать себя зависит не столько от их костяка и мускулов, сколько от их душевного склада. Они не показывают себя во весь рост, и от этого на самом деле кажутся меньше. Фермер Оук по какой-то застенчивой скромности, которая пристала бы разве что невинной девице, казалось, постоянно был одержим мыслью, что ему не положено занимать много места, и поэтому он старался не привлекать к себе внимания и ходил, не то что сутулясь, а слегка втянув голову в плечи. Это могло бы считаться недостатком у человека, который стремится произвести впечатление, полагаясь на свою внешность больше, чем на умение держать себя, но фермер Оук отнюдь не притязал на это.

Он только что достиг того возраста, когда люди, говоря о нем, перестали предпосылать к слову «человек» обязательную приставку «молодой». Он вступил в счастливейшую пору в жизни мужчины; и ум и чувства его были четко разделены: он уже миновал то время, когда по молодости лет чувства у юноши вторгаются в разум и заставляют его подчиняться их внезапному побуждению, но для него еще не настала пора, когда под влиянием жены и семьи чувства снова завладевают разумом и порождают предвзятость. Короче говоря, ему было двадцать восемь лет, и он был не женат.

Поле, по которому он шагал в это утро, раскинулось по косогору одного из увалов холма, носившего название Норкомбский холм. Через отрог этого холма пролежала дорога из Эмминстера в Чок-Ньютон. Взглянув мимоходом поверх изгороди, Оук увидел спускающуюся по дороге нарядную рессорную повозку, выкрашенную в желтый цвет с пестрым узором; повозку везла пара лошадей, а возчик шагал рядом с кнутом в руке, который он держал, опустив вниз. Повозка была нагружена домашним скарбом, цветочными горшками с комнатными растениями, а поверх всего этого сидела молодая привлекательная женщина. Габриэль едва успел охватить взглядом это зрелище, как вдруг повозка остановилась почти против его изгороди.

– Задок потеряли, мисс, – сказал возчик.

– Так это я, верно, и слышала, как он упал, – отозвалась девушка не то чтобы тихим, но скорее мягким голосом. – Я слышала, что-то стукнуло, когда мы поднимались в гору, да мне не пришло в голову, что это задок.

– Пойду погляжу.

– Ступайте, – сказала она.

Умные лошадки стояли спокойно, и шаги возчика, удаляясь, вскоре затихли вдали.

Девушка сидела не двигаясь на гряде домашнего скарба, среди перевернутых вверх ногами столов и стульев, прислонясь к громоздившемуся за ее спиной дубовому ларю и живописно обрамленная спереди горшками с геранью, миртами, кактусами и клеткой с канарейкой, – все это, вероятно, было снято с окон только что покинутого дома. Тут же была и кошка в плетеной корзинке с крышкой, которая была задвинута не до конца; кошка, жмурясь, выглядывала из корзинки и провожала умильным взглядом порхавших кругом птичек.

Хорошенькая девушка некоторое время сидела, спокойно откинувшись, и в тишине слышно было только порханье канарейки, перепрыгивающей с жердочки на жердочку в своей клетке. Затем девушка внимательно поглядела куда-то вниз; не на кошку и не на канарейку, а на какой-то продолговатый сверток в бумаге, лежавший между корзинкой и клеткой. На секунду она оглянулась посмотреть, не идет ли возчик. Его еще не было видно, и взгляд ее снова устремился к свертку: по-видимому, мысли ее были поглощены тем, что в нем находилось. Наконец она протянула руку за свертком, переложила его к себе на колени и развернула; это оказалось маленькое висячее зеркало, она поднесла его к лицу и стала пристально себя разглядывать, потом вдруг разомкнула губы и улыбнулась.

Это было чудесное утро; в ярком солнечном свете ее бордовый жакет казался огненно-красным, и мягкие блики скользили по ее оживленному лицу и темным волосам. Мирты, герань, кактусы, громоздившиеся вокруг нее, были зелены и свежи, и в это безлиственное время года они придавали всему – и лошадям, и повозке, и домашнему скарбу, и девушке – какое-то особенное, весеннее очарование. Что это ей вздумалось вдруг пококетничать, когда кругом не было ни души и никто не мог наблюдать за ней, кроме воробьев, дроздов да этого фермера, о присутствии которого она не подозревала, – кто знает; была ли эта улыбка деланой, не началось ли все с того, что ей захотелось попробовать свои силы в этом искусстве, – сказать трудно, но, несомненно, потом улыбка стала естественной. Девушка даже слегка покраснела и, глядя на себя в зеркало, еще больше залилась краской.

То, что все это происходило не в обычной обстановке в часы одевания, в спальне, когда глядятся в зеркало по необходимости, а в повозке под открытым небом, сообщало этому праздному занятию характер новизны, которой оно, в сущности, не обладало. Получилась прелестная картинка. Обычная женская слабость выглянула украдкой на свет и вдруг заиграла на солнце каким-то неожиданным своеобразием. Глядя на эту сцену, Габриэль Оук, как ни великодушно он был настроен, не мог не прийти к довольно-таки циническому умозаключению: ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало. Она не поправила на себе шляпу, не пригладила волосы, не провела рукой по лицу и не сделала ни одного жеста, который позволил бы догадаться, почему, собственно, ей понадобилось смотреться в зеркало. Она просто созерцала себя как достойное произведение природы, создавшей такой прекрасный экземпляр женского пола, и, должно быть, ей представилось некое отдаленное, но вполне вероятное будущее, когда вокруг нее будут разыгрываться драмы с участием мужчин – и они все у ее ног. Тут, верно, и появилась эта улыбка – она уже видела себя покорительницей сердец. Конечно, все это было не больше чем предположение; и, во всяком случае, все движения ее были так непосредственны, что усмотреть в них какую-то преднамеренность было бы весьма опрометчиво. На дороге слышались шаги возвращающегося возчика. Она завернула зеркало в бумагу и положила сверток на прежнее место.

Когда повозка двинулась дальше, Габриэль покинул свой наблюдательный пункт и, спустившись на дорогу, пошел следом за повозкой к заставе у подножья холма, где объект его наблюдений вынужден был остановиться для оплаты дорожных сборов. Еще не дойдя до заставы, шагах в двадцати он услышал громкие пререканья. Люди с повозки спорили со сторожем у заставы из-за двух пенсов.

– Племянница хозяйки, вон она сидит на возу, говорит, что достаточно с тебя и того, что я дал, сквалыга ты этакий, больше она платить не будет! – кричал возчик.

– Очень хорошо, тогда, значит, племянница хозяйки дальше не поедет, – отвечал сторож, закрывая ворота.

Оук, приблизившись к спорщикам, молча переводил взгляд с одного на другого и размышлял. Два пенса казались ему сейчас чем-то совершенно ничтожным. Три пенса – это уже были деньги, урвать три пенса из дневного заработка – это

чувствительный урон, есть из-за чего поторговаться; но два пенса...

– Вот получите, – сказал он, выходя вперед и протягивая сторожу двухпенсовик, – пропустите эту молодую женщину.

И он поднял на нее глаза, а она в этот миг, услышав его слова, поглядела вниз.

Лицо Габриэля в общих чертах представляло собой до такой степени нечто среднее между прекрасным ликом апостола Иоанна и безобразным Иудой Искаротом, какими они были изображены на потускневшем витраже церкви в ее приходе, что глазу не на чем было задержаться. Оно не привлекало к себе внимания, ибо ничем не выделялось. К такому же заключению пришла, по-видимому, и темноволосая девушка в красном жакете, потому что она только бегло скользнула по нему взглядом и приказала возчику трогать. Может быть, этот взгляд и был изъявлением благодарности Габриэлю, но она не сказала ему спасибо, да скорей всего и не чувствовала никакой благодарности, потому что, заплатив за ее проезд, он тем самым заставил ее сдаться в споре, а какая женщина будет признательна за такого рода услугу?

Сторож проводил взглядом удалявшуюся повозку.

– А красивая девушка, – заметил он, поворачиваясь к Оуку.

– И у нее есть свои недостатки, – сказал Габриэль.

– Верно, фермер.

– И самый большой – это тот, что всегда за ними водится.

– Морочить добрых людей? Что правда, то правда.

– Да нет, совсем не то.

– А что же тогда?

Габриэль, может быть, слегка уязвленный равнодушием миловидной путницы, поглядел через плечо на изгородь, из-за которой он только что наблюдал

пантомиму с зеркалом, и сказал:

– Суетность, вот что.

Глава II

Ночь. Отара. Бытовая картинка. Еще бытовая картинка

Это был канун Фомина дня, самого короткого дня в году. Время было около полуночи... Отчаянный ветер дул с севера из-за того самого холма, где всего несколько дней тому назад, в ясное солнечное утро, Оук наблюдал желтую повозку и сидевшую в ней путницу.

Норкомбский холм недалеко от пустоши Толлердаун принадлежал к норкомбским земельным угодьям, которые сдавались в аренду под овечьи выгоны, и путнику, идущему мимо этого холма, невольно приходило на ум, что эта ровная округлость, пожалуй, одно из самых несокрушимых образований земной толщи, какое только можно встретить на земном шаре. Эта ничем не примечательная выпуклость из песка и мела, похожая на обыкновенную шишку, вздувшуюся на поверхности земли, уцелела бы, вероятно, при любом катаклизме, который сокрушил бы гораздо более высокие горы и мощные гранитные скалы.

На северном склоне холма была когда-то заповедная буковая роща, которая давно уже пришла в запустенье и превратилась в дикую чащу: кроны ее верхних деревьев поднимались над гребнем косматой дугой, словно взлохмаченная грива. Сейчас эти верхние деревья защищали южный склон от бешеных порывов ветра, который с яростью врывался в рощу, с ревом проносился по ней, круша все на своем пути, и, захлебнувшись на гребне, нет-нет да и перехлестывал через него с жалобным стоном. Сухие листья в канаве вдруг точно вскипали на ветру; иногда вихрю удавалось выхватить и унести несколько листьев, и он гонял их по траве и кружил в воздухе. Эта масса палой сухой листвы изредка пополнялась только что упавшими листьями, которым до сих пор, до половины зимы, удалось удержаться на ветвях, и теперь, отрываясь, они падали, звучно постукивая о стволы.

Между этим наполовину лесистым, наполовину обнаженным холмом и туманным, недвижимым горизонтом, над которым он смутно громоздился, лежала непроницаемая пелена бездонной мглы, но по шуму, доносившемуся оттуда, можно было догадаться, что и там, за этой мглой, творится примерно то же, что и здесь. Чахлая трава, кое-где покрывавшая холм, страдала от натисков ветра не только различной силы, но и различного характера; он то обрушивался на нее и валил на землю, то раскидывал и греб, как граблями, то приминал и приглаживал, как щеткой. Человек, очутившийся на этом холме, невольно остановился бы послушать жалобные голоса деревьев, которые, словно в церковном хоре, вторили и отвечали друг другу, подхватывая то справа, то слева горестные стенания и вопли, а придорожные кусты с подветренной стороны и еще какие-то темные тени не сразу откликнулись им чуть слышным всхлипыванием, а затем ветер в стремительном порыве перекидывался на южный склон, и все стихало.

Небо было ясное – на редкость ясное, и мерцанье звезд казалось трепетаньем единой плоти, в которой бьется один общий пульс. Полярная звезда стояла прямо над тем местом, откуда дул ветер, а Большая Медведица с вечера успела повернуться вокруг нее ковшом к востоку и теперь находилась под прямым углом к меридиану. Различие в цвете звезд, о котором в Англии знают скорее по книжкам и редко кто наблюдал воочию, сейчас было явственно видно. Царственно сверкающий Сириус резал глаз своим стальным блеском, звезда, известная под названием Капеллы, была желтая, Альдебаран и Бетельгейзе горели огненно-красным.

Для человека, который в такую ясную ночь стоит один на вершине холма, вращение земли с запада на восток становится почти ощутимым. Вызывается ли это ощущение величественным движением звезд, которые, плывя по небосводу, оставляют позади разные земные вехи, – а это, если постоять спокойно, начинаешь замечать через несколько минут, – или, может быть, безграничным пространством, открывающимся с вершины холма, или ветром, или просто одиночеством, – чем бы оно ни вызывалось, это очень явственное ощущение, и оно длится – ты чувствуешь, как плывешь вместе с землей. Поэзия движения... Как много у нас говорят об этом, но чтобы ощутить ее во всей полноте, надо взойти ночью на вершину холма и, исполнившись сначала сознанием разительного отличия от остальной массы цивилизованного человечества, мирно почивающего в этот час и не интересующегося подобными вылазками, созерцать спокойно и длительно собственное величавое движение среди светил. После такого ночного странствия, когда человек отрешается от привычного образа мыслей и представлений, иные так воспаряют духом, что чувствуют себя уже

готовыми для вечности.

Внезапно какие-то неожиданные звуки прокатились по холму и понеслись в небо. Они отличались четкостью, несвойственной ветру, и связностью, какой не бывает в природе. Это были звуки флейты фермера Оука.

Мелодия не плыла по воздуху, не лилась свободно, ее как будто что-то теснило, и едва только она устремлялась ввысь и вдаль, как тут же и обрывалась. Она доносилась со стороны какого-то небольшого темного выступа под изгородью, окружавшей буковую рощу, – это была пастушеская хижина, но сейчас в темноте человек непосвященный никак бы не мог догадаться, что здесь такое громоздится и зачем.

В общем, это имело вид маленького Ноева ковчега на маленьком Арарате, в том трафаретном изображении, какое вошло в традицию у игрушечных мастеров, а благодаря этому отложилось и в нашем представлении в том же неизменном виде, в каком оно запомнилось в детстве и сохранилось на всю жизнь вместе с другими неизгладимыми ранними впечатлениями. Хижина стояла на небольших колесах, так что пол ее примерно на фут возвышался над землей. Такие пастушеские хижины вывозятся на пастбище, когда овцам приходит пора ягниться, чтобы у пастуха был приют на время его вынужденного ночного бдения.

Габриэля только с недавних пор стали величать фермером Оуком. За последний год, благодаря своему необыкновенному усердию и никогда не изменяющей ему бодрости, он наконец добился того, что мог позволить себе снять в аренду небольшую овечью ферму, куда входил Норкомбский холм, и обзавестись двумя сотнями овец. До этого он некоторое время служил управителем в усадьбе, а раньше был простым пастухом: еще совсем мальчишкой, когда отец его жил в работниках у богатых сквайров, он помогал ему ходить за гуртами овец, и так оно и шло до тех пор, пока старый Габриэль не почил вечным сном.

Попытка заняться фермерством не в качестве батрака, а на правах хозяина, своими силами, в одиночку, да еще выплачивать при этом долг за овец, была, разумеется, рискованным делом, и Габриэль Оук прекрасно сознавал это. Первое, о чем надо было позаботиться для успешного продвижения по новой для него стезе, – это сохранить приплод, а так как во всем, что касается овец, Габриэль разбирался лучше всякого другого, он не решился доверить их кому-либо в это время года, опасаясь, как бы они не попали в чьи-нибудь нерадивые

или неумелые руки.

Ветер по-прежнему ломился в хижину, но игра на флейте прекратилась. Внезапно в стене хижины вырезался освещенный прямоугольник и в нем фигура фермера Оука. В руке у него был фонарь, он вышел и закрыл за собой дверь; в течение примерно двадцати минут он возился на ближнем участке выгона, свет его фонаря то появлялся, то пропадал, мелькая то там, то тут, и фигура Оука то выступала на свету, то исчезала в темноте, в зависимости от того, стоял ли он позади фонаря или заслонял его собой.

Движения Оука, хотя они и отличались какой-то спокойной силой, были медлительны, и их неторопливость вполне соответствовала его занятию. Поскольку соответствие – основа всего прекрасного, нельзя было не признать, что в этих уверенных движениях, когда он, то наклоняясь, то выпрямляясь, прохаживался среди своих овец, была какая-то своеобразная грация. И хотя в случае надобности он мог действовать и соображать с такой же молниеносной быстротой, какая более свойственна горожанам, ибо у них это вошло в привычку, – сила, отличавшая его нравственно, физически и духовно, пребывала в состоянии покоя и, как правило, ничего, или почти ничего, не выигрывала от скорости.

Приглядевшись внимательно к окружающей местности, можно было даже и при слабом свете звезд обнаружить, с какой тщательностью этот, в сущности говоря, голый склон был приспособлен фермером Оуком для того важного дела, на которое он возлагал надежды в эту зиму. Кругом, там и сям, виднелись прочно вбитые в землю плетеные загородки, перекрытые соломой, а под ними и между ними копошились белые комочки ягнят. Звон овечьих бубенчиков, стихший в отсутствие Оука, теперь возобновился, но в нем не было звонкости, звук был скорее мягкий, заглушенный густой шерстью, разросшейся вокруг бубенцов. Он продолжался до тех пор, пока Оук не покинул стадо. Он вернулся в хижину, неся на руках только что родившегося ягненка, представлявшего собой четыре длинных ноги, достаточно длинных для взрослой овцы, и соединявшей их тоненькой мездры, вся совокупность коей составляла примерно половину всех четырех ног, вместе взятых, и это было все, из чего состояло сейчас туловище животного.

Оук положил этот маленький живой комочек на охапку сена перед небольшой печкой, на которой сейчас кипело в кастрюльке молоко, задул фонарь, снял пальцами нагар, – хижину освещала свеча, вставленная в скрученную на конце,

спускавшуюся с потолка проволоку.

В этом очень тесном жилище половину места занимало довольно твердое ложе из наваленных один на другой холщовых мешков из-под зерна; фермер Оук растянулся на нем, развязал свой шерстяной галстук и закрыл глаза. Не прошло и нескольких секунд, другой человек, непривычный к физическому труду, еще только примеривался бы, на какой ему бок повернуться, как фермер уже спал.

Заманчиво и уютно выглядела сейчас внутри маленькая хижина; красный отблеск углей, тлеющих в печке, и пламя свечи, отражавшееся веселыми бликами на всем, куда доставал ее свет, придавали какой-то праздничный вид даже посуде и инструментам. В углу стоял посох, а вдоль стен и на полке выстроились бутылки и жестянки со всякими средствами, необходимыми для ухода за овцами, для их лечения и оперирования. Главными из этих средств были спирт, скипидар, деготь, магnezия, имбирь и касторовое масло. На угловой полке лежали хлеб, сало, сыр, стояла кружка для пива или сидра, а в углу под полкой – фляжка, из которой, видимо, и наливали в кружку. Тут же, рядом со съестными припасами, лежала флейта, которая скрашивала своим пеньем томительные часы бодрствования одинокого фермера. Хижина проветривалась посредством двух круглых отверстий, похожих на иллюминаторы с деревянными задвижками.

Пригревшись у печки, ягненок зашевелился и заблеял, и этот звук, едва коснувшись слуха Габриэля, мгновенно вошел в его сознание как нечто ожидаемое. Он моментально проснулся и, очнувшись с такой же легкостью, с какой он незадолго до этого погрузился в крепчайший сон, взглянул на часы, обнаружил, что часовая стрелка опять соскользнула, надел шляпу и, взяв ягненка на руки, вышел с ним в темноту. Положив малыша к матери, он отошел на несколько шагов и, остановившись, стал внимательно оглядывать небо, чтобы определить по положению звезд, который сейчас может быть час.

Сириус и Альдебаран, повернувшись к беспокойным Плеядам, уже прошли половину своего пути по небу Южного полушария, а между ними висел Орион, и это пышное созвездие, казалось, никогда не пылало так ярко, как сейчас, когда оно словно повисло над горизонтом. Кастор и Поллукс мирно светились на самом меридиане, а сумрачный, полый квадрат Пегаса тихонько поворачивался на северо-восток; далеко за лесом, словно лампа, висящая среди обнаженных деревьев, поблескивала Вега, а кресло Кассиопеи стояло, чуть

покачиваясь, на верхних ветвях.

– Время час, – определил Габриэль.

У него нередко бывали минуты, когда он живо чувствовал, что в жизни, которая выпала ему на долю, есть своя прелесть, и вот сейчас, покончив со своими наблюдениями, он продолжал стоять и смотреть на небо, но уже не как на полезный механизм, а с восхищением, как на прекрасное произведение искусства. С минуту он стоял, словно потрясенный полной отчужденностью этой живущей своей жизнью бездны, или, вернее, ее непричастностью ко всему людскому, ибо на всем пространстве, которое она обнимала, не было ни видно и ни слышно ни души. Люди с их распрями, заботами, радостями как будто и не существовали, и, казалось, на всем погруженном во мрак полушарии Земли не было ни одного земного существа, кроме него; можно было подумать, что они все на другой, солнечной стороне.

Так он стоял, поглощенный своими мыслями, глядя прямо перед собой в необъятную даль, и прошло некоторое время, прежде чем он с удивлением обнаружил, что светящаяся точка совсем низко на небе по ту сторону букового леса, которую он принимал за звезду, вовсе не звезда, а свет от огня, горевшего где-то совсем рядом.

Бывает иной раз, очутится человек где-нибудь совсем один ночью, и ему становится жутко, и он ждет и надеется, что вот-вот кто-нибудь появится вблизи. Но еще более трудное испытание для нервов – это обнаружить около себя чье-то таинственное присутствие, когда все ваши чувства, и восприятия, и память, и чутье, и сопоставления, и доводы, и догадки, и умозаключения, и все доказательства, которыми располагает логика, – все вселяет в вас полную уверенность, что вы в полнейшем уединении.

Фермер Оук вошел в рощу и, пробравшись меж густо разросшимися нижними ветвями, очутился на противоположной, наветренной стороне холма. Какой-то темный бугор выступал под откосом, и он вспомнил, что где-то здесь, в выбоине холма, стоял сарай, сколоченный из просмоленных досок, прибитых спереди к столбам и покрытых крышей, которая сзади приходилась вровень с землей. Сквозь щели в крыше и в стене просачивались узенькие полоски света, и это слившееся в одну точку, мерцающее из-за деревьев сияние и обмануло его. Оук подошел поближе и, нагнувшись над крышей, заглянул в щель – в нее было хорошо видно все помещение сарая.

Там находились две женщины и две коровы. Возле одной из коров стояло ведро с пойлом из отрубей, от которого поднимался пар. Одна из женщин была более чем пожилого возраста; ее товарка показалась Оуку молоденькой, привлекательной, но он не мог судить о ее внешности, потому что ему было видно ее только сверху, иначе говоря, он созерцал ее с высоты птичьего полета, подобно тому, как мильтоновский Сатана впервые созерцал Рай. На ней не было ни чепца, ни шляпы, она куталась в широкий плащ, накинутый прямо на голову.

– Ну, пора, идем-ка домой, – сказала старшая и, упершись руками в бока, огляделась по сторонам, словно проверяя, все ли в порядке. – Я думаю, Дэзи теперь обошлась. Уж как я перепугалась, до смерти! Весь сон пропал. Ну, ничего, кажется, мы ее выходили.

Молодая девушка, у которой, едва только наступало молчанье, наверно, слипались глаза, сладко зевнула, не разжимая губ, и Габриэль, заразившись от нее, тоже сочувственно зевнул.

– Как бы я хотела, чтобы у нас было побольше денег, чтобы можно было держать работника и он бы со всем этим возился, – сказала она.

– Но так как у нас их мало, – возразила другая, – хочешь не хочешь, а приходится возиться самим, и ты должна мне помогать, если ты у меня останешься.

– А шляпка моя, наверно, пропала, – промолвила девушка. – Должно быть, за изгородь унесло. И ветер-то совсем слабый был, и вот надо же – сорвал.

Корова, стоявшая неподвижно, была девонской породы, плотно обтянутая гладкой блестящей шкурой такого ровного медно-красного цвета, без единого пятнышка, на всей поверхности от головы до хвоста, что казалось, ее целиком окунули в медную краску; спина у нее была длинная и совершенно плоская. Другая корова была пестрая, в серых и белых пятнах. Возле нее Оук только теперь заметил маленького теленка, не старше одного дня; он тупо уставился на женщин невидимо, еще не освоил свой аппарат зрения, ибо то и дело поворачивался к фонарю, который он, должно быть, принимал за луну, – с тех пор как он появился на свет, прошло еще так мало времени, что унаследованный им инстинкт еще не выправился опытом. Люцине, богине родов, было много забот последнее время и с овцами, и с коровами на Норкомбском холме.

– Я думаю, не послать ли нам за овсяной мукой, – сказала пожилая женщина, – отруби уже все вышли.

– Ладно, тетя, я сама съезжу за ней, как только рассветет.

– Но у нас нет такого седла, дамского-то.

– А я могу и на мужском, вы за меня не бойтесь.

Слушая этот разговор, Оук сделал было еще попытку разглядеть черты молодой девушки, его разбирало любопытство, но все его усилия были тщетны, ибо голова ее была покрыта плащом, и, кроме плаща, ему сверху ничего не было видно; тогда он попытался представить ее себе воображением. Даже в тех случаях, когда объект наших наблюдений находится прямо перед нами, на уровне наших глаз, и ничто не мешает нам его видеть, мы придаем ему те краски и те черты, какие нам самим хочется в нем видеть. Если бы Габриэлю с самого начала удалось увидеть ее лицо, оно показалось бы ему красивым или не очень, в зависимости от того, нуждалась ли его душа в кумире или ею уже завладел кто-то. А так как с некоторых пор душе его явно чего-то не доставало и нечем было заполнить пустоту, томившую ее, то вполне естественно, что сейчас, когда воображению его был предоставлен полный простор, он нарисовал ее себе ангелом красоты.

И надо же, чтобы в эту самую минуту – такие удивительные совпадения охотно подстраивает природа, точь-в-точь как любящая мать, которая среди своих непрестанных хлопот нет-нет да и пошутит с детьми, – девушка откинула плащ, и ее черные косы упали на красную жакетку. Оук тотчас же узнал в ней утреннюю героиню из желтой повозки с цветами и зеркалом, – словом, ту самую молодую женщину, которая задолжала ему два пенса.

Они положили теленка к матери, взяли фонарь и, выйдя из сарая, пошли по тропинке вниз с холма, и свет от фонаря, скользя по склону, становился все бледнее и бледнее, пока не превратился в чуть заметное пятнышко. Габриэль Оук зашагал обратно, к своему стаду.

Девушка на лошади. Разговор

Медленно пробуждался день. На земле даже его пробуждение всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, едва рассвело, снова направился к роще, хотя никакой причины к этому, кроме ночной сцены, которую он наблюдал там, не было. Погруженный в задумчивость, он бродил среди деревьев, как вдруг до него донесся стук копыт, и у подошвы холма на тропинке, ведущей вверх мимо сарая с коровами, показалась пегая лошадка с сидящей на ней верхом девушкой. Это была та самая девушка, которую он видел ночью. Габриэль тотчас же вспомнил про шляпку, которую с нее сорвало ветром; может быть, она приехала искать ее. Он поспешно заглянул в канаву и, пройдя вдоль нее шагов десять, увидел шляпку среди вороха листьев. Габриэль поднял ее и вернулся к себе в хижину. Здесь он примостился у своего круглого оконца и стал наблюдать за приближающейся всадницей.

Поднявшись на холм, она сначала огляделась по сторонам, потом заглянула за изгородь. Габриэль совсем было уже собрался выйти ей навстречу и возвратить потерянную собственность, но тут она неожиданно выкинула нечто такое, что он просто остолбенел и забыл о своем намерении.

Тропинка, миновав сарай, углублялась в рощу. Это была совсем узенькая пешеходная тропинка, отнюдь не для езды; ветви деревьев сходились над ней невысоко от земли, ну разве что на высоте каких-нибудь семи футов, так что проехать здесь верхом нечего было и думать. На девушке было обыкновенное платье, не совсем подходящее для верховой езды; подъехав к роще, она быстро огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что кругом нет ни души, ловко откинулась назад, так что голова ее очутилась у самого хвоста, и, глядя в небо, уперлась ногами в шею лошади. Все это совершилось в одно мгновение, она просто скользнула стремительно, как зимородок, бесшумно, как сокол. Габриэль даже не успел уловить ее движений. Рослая, сухощавая лошадка, видимо, привыкла к такому обращению и невозмутимо продолжала трусить легкой рысцей. Так они и проехали под сводом деревьев.

Наездница, видимо, чувствовала себя как дома на спине лошади, в любой ее точке от головы до хвоста, и когда чаща деревьев осталась позади и надобность в такой необычной позе миновала, она попробовала принять другую, более удобную. Седло было не дамское, и усестись прочно, извернувшись лежа, на гладкой скользкой коже оказалось не так-то просто. Тогда она вскочила,

выпрямившись, как молодое деревцо, и, убедившись, что кругом никого нет, уселась, правда, не совсем так, как подобало сидеть женщине, но, во всяком случае, так, как подобало сидеть в этом седле, и вскоре скрылась из глаз, свернув к мельнице.

Оуку все это показалось несколько диковинным и очень забавным; он повесил шляпу в хижине и отправился снова к своим овцам. Примерно через час девушка проехала обратно, сидя теперь вполне благопристойно рядом с привязанным к седлу мешком с отрубями. У сарая ее встретил мальчик с ведром в руке. Она бросила ему поводья и спрыгнула с лошади. Мальчик увел лошадь, оставив ей ведро для молока. Вскоре из сарая послышались мерно перемежающиеся то звонкие, то глухо всхлипывающие звуки – там доили корову. Габриэль взял потерянную шляпку и вышел к тропинке, по которой девушка должна была пройти, чтобы спуститься с холма. Она вышла, неся в одной руке ведро на уровне колена и вытянув для равновесия другую, левую руку, которая, высунувшись из рукава, заставила Оука невольно пожалеть, что дело происходит не летом, когда она была бы открыта вся целиком. Сейчас на лице девушки было написано такое удовлетворение и торжество, как если бы она всем своим видом заявляла, что ее существование на белом свете должно радовать всех; и это дерзкое допущение даже не казалось вызывающим, потому что всякий, глядя на нее, чувствовал, что так оно, в сущности, и есть. Так необычная выразительность, которая в речах посредственности показалась бы смешной, усиливает власть гения и придает внушительность его слову. В глазах девушки мелькнуло удивление, когда физиономия Габриэля вынырнула перед ней, словно луна из-за ограды.

Сложившийся в представлении фермера неясный очаровательный облик сейчас, когда он очутился лицом к лицу с живой натурой, не то чтобы проиграл от сравнения, а скорее как-то изменился. Начать с того, что он ошибся в росте. Она казалась высокой, но ведро было маленькое, а изгородь низкая, поэтому, делая скидку на это невольное сопоставление, следовало признать, что рост ее не превышал того, какой считается самым хорошим у женщин. Черты лица у нее были правильные, строгие. Ценители красоты, изъездившие вдоль и поперек нашу страну, справедливо замечали, что у англичанок классическая красота лица редко соединяется с такой же совершенной фигурой; строгие точеные черты чаще бывают крупными и в большинстве случаев не соответствуют росту и сложению, а изящная пропорциональная фигурка обычно сочетается с неправильными чертами лица. Не возводя нашу молочницу в нимфы, скажем просто, что здесь все критические замечания отпадали сами собой и любому критику доставило бы несомненное удовольствие созерцать такое совершенство

пропорций. Округлые очертания стана позволяли предположить красивые плечи и грудь, но с тех пор как она перестала быть ребенком, их никто не видел. Если бы ее нарядили в платье с низким вырезом, она бы бросилась сломя голову куда-нибудь в кусты. А она была далеко не из застенчивых. Просто она инстинктивно проводила черту между доступным и запретным для чужого взгляда, и черта эта была несколько выше, чем у горожанок. Как только она поймала устремленный на нее взгляд Оука, мысли ее, естественно, последовали за его взглядом к собственному лицу и фигуре. Будь это откровенное самолюбование, оно показалось бы тщеславием, а если бы она постаралась его скрыть, она проявила бы несвойственную ей высокомерную сдержанность. В деревне девичьи лица чувствительны к пламенным взорам мужчин. Она поспешно провела рукой по щекам, как если бы Габриэль и впрямь коснулся их розовой кожи, и в ее непринужденных движениях появилась какая-то неуловимая застенчивость. Но краска вспыхнула на щеках мужчины, а она не покраснела.

– Я нашел шляпку, – вымолвил Оук.

– Это моя, – сказала она и, стараясь держать себя как подобает, подавила желание расхохотаться и только улыбнулась. – Она нынче ночью у меня улетела.

– В час ночи?

– Да, верно. – Она явно удивилась. – А вы откуда знаете?

– Я был тут.

– Вы фермер Оук? Не правда ли?

– Да, похоже, что так. Я здесь совсем недавно.

– И большая у вас ферма? – поинтересовалась она, обводя взглядом склон холма и откидывая со лба волосы. Они были черные, густые, но сейчас солнце, которое вошло всего час тому назад, брызнуло на них своими лучами и позолотило волнистые прядки.

– Да нет, небольшая. Так около сотни будет (местные жители, говоря о ферме, опускают по старинке слово акр).

– Нынче утром мне так нужна была моя шляпка, – продолжала она. – Я ездила на мельницу.

– Да я знаю.

– Откуда вы знаете?

– Я вас видел.

– Где? – спросила она, застыв на месте и уже предчувствуя ответ.

– Да вот здесь, когда вы ехали через рощу и потом спускались с холма, – отвечал фермер Оук весьма многозначительным тоном, относящимся к тому, что само собой невольно возникло перед его взглядом, устремленным на терявшуюся вдали тропинку, и тут он перевел глаза на свою собеседницу.

Но едва только он взглянул на нее, как сразу отвел взгляд, и с такой поспешностью, как если бы его уличили в воровстве. Когда девушка вспомнила свои акробатические номера во время езды через рощу, ее сначала кинуло в дрожь, а потом всю с ног до головы обдало жаром. Вот когда можно было увидеть, как способна покраснеть женщина, которой отнюдь не свойственно краснеть. На лице ее не осталось ни следа белизны. Она вся покрылась краской до корней волос, и краска эта все густела, постепенно переходя от девичьего румянца через все оттенки Розы Прованса до Алой Тосканы, пока не стала совсем густо-пунцовой. Оук из деликатности отвернулся.

Человек великодушный, он заставлял себя смотреть в сторону, думая, скоро ли она овладеет собой настолько, что ему можно будет позволить себе снова глядеть на нее. Вдруг ему послышался словно шелест листа, подхваченного ветром, он взглянул, а ее уже и след простыл.

Габриэль, представляя собой поистине трагикомическое зрелище, вернулся к своей работе.

Прошло пять дней и пять вечеров. Девушка аккуратно приходила доить здоровую корову и ухаживать за больной, но ни разу не позволила себе хотя бы бросить взгляд в сторону Оука. Он глубоко оскорбил ее своей бестактностью, и дело было не в том, что он видел то, что ему не полагалось – это случилось не по его вине, – а в том, что он нашел нужным сказать ей об этом. Ибо как нет греха, если нет запрета, так нет и неприличия, если нет чужих глаз; а теперь выходило, что из-за подглядывания Габриэля (а ведь она этого не знала) ее поведение оказалось непристойным. Габриэль страшно огорчился своим промахом, и все это только сильнее разжигало вспыхнувшее в нем чувство.

Но, может статься, знакомство на том бы и кончилось, и он мало-помалу перестал бы о ней думать, если бы в конце той же недели не случилось одно происшествие. В этот день после полудня сильно похолодало; к вечеру ударил мороз, словно он только и ждал темноты, чтобы незаметно захватить все в свои оковы. В деревне в такую стужу в хижинах от дыхания спящих индевеют простыни, а в хорошем городском доме с толстыми стенами у сидящих перед камином бежит холодок по спине, хотя в лицо так и пышет жаром. В этот вечер много маленьких пташек укрылось голодными на ночь среди оголенных ветвей.

Незадолго до того часа, когда девушка обычно приходила доить, Оук, как всегда, занял свой наблюдательный пост над сараем. Сильно прозябнув, он подбросил овцам, которые собирались ягниться, еще по охапке соломы и вернулся в хижину, чтобы подложить дров в печурку. Ветер так и садил из-под дверцы, и, чтобы защититься от него, он повернул свой домик на колесах в другую сторону.

Тогда ветер ворвался в отдушины – их было две, одна против другой в боковых стенах. Габриэль хорошо знал, что одна из них должна быть непременно открыта, если в хижине топится печь и затворена дверь; открывалась обычно та, в которую меньше дуло. Он задвинул отдушину с наветренной стороны и хотел было открыть другую, но решил на минутку присесть и подождать, чтобы в хижине немножко обогрелось. Он сел.

У него заболела голова, это было нечто совершенно непривычное для него, и он подумал, что, должно быть, сказывается усталость, – последние ночи ему приходилось вставать к овцам, и он спал урывками. Он сказал себе, что он сейчас встанет, откроет отдушину и завалится спать. Но он свалился и заснул, прежде чем успел что-либо сделать.

Сколько времени он пробыл без сознания, для него так и осталось неизвестным. В первый момент, когда он очнулся, ему показалось, что с ним происходит что-то странное. Собака выла, голова у него разламывалась от боли, кто-то тряс его за плечи, чьи-то руки развязывали его шейный платок. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что сумерки уже сменились темнотой. Возле него сидела та самая девушка с необыкновенно пленительными губками и ослепительными зубами. Более того, и это было самое удивительное – голова его лежала у нее на коленях, причем лицо и шея у него были противно мокрые, а ее пальцы расстегивали его ворот.

– Что случилось? – растерянно вымолвил Оук.

Она, по-видимому, обрадовалась, но не настолько, чтобы тут же и рассмеяться.

– Теперь можно сказать, ничего, раз вы не умерли, – ответила она. – Надо только удивляться, что вы не задохлись насмерть в этой своей хижине.

– А, хижина! – пробормотал Габриэль. – Десять фунтов я заплатил за эту хижину. Но я ее продам и буду укрываться в плетеном шалаше и спать на соломе, как в старину делали. Вот только на днях она чуть было не сыграла со мной такую же штуку! – И Габриэль для убедительности стукнул кулаком об пол.

– Вряд ли тут можно винить хижину, – возразила она таким тоном, что сразу можно было сказать, что эта девушка представляет собой редкое исключение – она додумывает до конца свою мысль, прежде чем начать фразу, и не подыскивает слова, чтобы ее выразить. – Надо было самому соображать и не поступать так неосмотрительно, не задвигать обе отдушины.

– Да, оно конечно, – рассеянно отозвался Оук.

Он старался проникнуться этим ощущением ее близости – вот он лежит головой на ее платье, – поймать, удержать этот миг, пока он не отошел в прошлое. Ему хотелось поделиться с ней своими переживаниями; но пытаться передать это неизъяснимое чувство грубыми средствами речи было бы все равно что пытаться донести аромат в неводе. И Оук молчал.

Она помогла ему сесть, и он принялся вытирать лицо и шею, отряхиваясь, как Самсон, пробуящий свою силу.

– Как мне благодарить вас? – вымолвил он наконец прочувствованно, и присущий ему коричневатый румянец проступил на его лице.

– Ну что за глупости, – ответила она, улыбнувшись, и, не переставая улыбаться, посмотрела на Габриэля, как бы заранее подсмеиваясь над тем, что он сейчас скажет.

– Как это вы меня нашли?

– Я слышу, ваша собака воет и скребется в дверь, а я как раз шла доить (ваше счастье – у Дэзи уже кончается молоко, и, может быть, это последние дни, что я хожу сюда). Как только она увидела меня, она бросилась ко мне и ухватила меня за подол. Я пошла за ней и первым делом посмотрела, не закрыты ли отдушины в хижине. У моего дяди точно такая же хижина, и я слышала, как он предупреждал своего пастуха не ложиться спать, не проверив отдушины, и всегда оставлять одну открытой. Я открыла дверь, вижу – вы лежите, как мертвый. Я побрызгала на вас молоком, потому что воды не было, мне даже в голову не пришло, что молоко теплое и никакого от него толку нет!

– А может быть, я так бы и умер, если бы не вы! – чуть слышно произнес Габриэль, словно обращаясь к самому себе, а не к ней.

– Ну нет! – возразила девушка. Она явно предпочитала менее трагический исход. После того как спасешь человека от смерти, невольно разговор с ним приходится поддерживать на высоте такого героического поступка – а ей этого совсем не хотелось.

– Я так думаю, что вы спасли мне жизнь, мисс... не знаю, как вас звать... Имя вашей тетушки мне известно, а ваше нет.

– А я не скажу, как меня зовут, – не скажу. Да оно, пожалуй, и ни к чему, вряд ли вам придется иметь когда-нибудь со мной дело.

– А мне бы все-таки хотелось узнать.

– Можете спросить у моей тетушки, она вам скажет.

– Меня зовут Габриэль Оук.

– А меня по-другому. Вы, видно, очень довольны своим именем, что так охотно называете себя – Габриэль Оук.

– Так видите ли, оно у меня одно на всю жизнь, и как-никак приходится им пользоваться.

– А мне мое имя не нравится, оно кажется мне каким-то чудным.

– Я думаю, вам недолго сменить его на другое.

– Упаси боже! А вы, верно, любите делать разные предположения о незнакомых вам людях, Габриэль Оук?

– Простите, мисс, если я что не так сказал, а я-то думал вам угодить. Да где же мне с вами тягаться, я не могу так складно свои мысли словами передать. У меня к этому никогда способности не было. А все-таки я благодарю вас от души. Позвольте пожать вашу руку.

Сбитая с толку этой старомодной учтивостью и серьезностью, какую Оук придал их шутивому разговору, она секунду поколебалась.

– Хорошо, – помолчав, сказала она и, поджав губы, с видом неприступной скромницы протянула ему руку. Он подержал ее в своей одно мгновение и, боясь обнаружить свои чувства, едва прикоснулся к ее пальцам с нерешительностью робкого человека.

– Как жаль, – вырвалось у него тут же.

– О чем это вы жалеете?

– Что я так скоро выпустил вашу руку.

– Можете получить ее еще раз, если вам так хочется. Вот она. – И она снова протянула ему руку.

На этот раз Оук держал ее дольше, сказать правду, даже удивительно долго.

– Какая мягкая, – сказал он, – а ведь сейчас зима, и не потрескалась, не загрубела!

– Ну теперь, пожалуй, довольно, – заявила она, но не отдернула руки. – Мне кажется, вам хочется поцеловать ее? Пожалуйста, целуйте, если хотите.

– У меня этого и в мыслях не было, – простодушно отвечал Габриэль. – Но я очень...

– Нет, этого не будет! – Она вырвала руку.

Габриэль почувствовал, что он опять оплошал.

– А ну узнайте, как меня зовут, – задорно крикнула она и исчезла.

Глава IV

Габриэль решается. Визит. Ошибка

Единственный вид превосходства в женщине, с которым способен мириться соперничающий пол, – это превосходство, не заявляющее о себе; но иногда превосходство, которое дает себя чувствовать, может нравиться покоренному мужчине, если оно сулит ему надежды завладеть им.

Эта хорошенькая бойкая девушка скоро совсем пленила ум и сердце молодого фермера. Ведь любовь – чрезвычайно жестокий ростовщик (расчет на громадную духовную прибыль – вот на чем зиждется подлинное чувство, когда происходит обмен сердец; точно так же и в других более низменных сделках обе стороны рассчитывают на хороший барыш – денежный либо телесный), поэтому каждое утро, когда Оук взвешивал свои шансы, его чувства подвергались таким же колебаниям, как денежный курс на бирже. Он каждый день ждал появления девушки совсем так же, как его пес в часы кормежки дожидался своей похлебки. Пораженный однажды этим унижительным сходством, Оук перестал

смотреть на собаку. Но он продолжал свои наблюдения из-за изгороди и каждый день караулил приход девушки, и с каждым днем чувство его возрастало. На нее это не оказывало никакого действия. Пока у Оука еще не было никаких определенных намерений, он не знал, как заговорить с ней о том, что переполняло его сердце; он был не мастер сочинять любовные фразы, у которых конец не отличается от начала, и не способен на пылкие излияния, которые полны

Неистовства и воплей исступленных,

Лишенных смысла,

и он не говорил ничего.

Порасспросив соседей, он узнал, что девушку зовут Батшеба Эвердин и что дней через шесть-семь корова перестанет доиться. Он со страхом ждал восьмого дня.

И наконец восьмой день наступил. Корова перестала давать молоко до конца года, и Батшеба Эвердин больше не появлялась на холме. Габриэль дошел до такого состояния, какого он некоторое время тому назад не мог себе даже и представить. Если прежде он любил насвистывать за работой, теперь он то и дело твердил имя Батшебы; он стал отдавать предпочтение черным волосам, хотя с детства ему всегда нравились каштановые. Он бродил в одиночестве и так сторонился людей, что его мало-помалу просто перестали замечать.

Любовь – это зреющая сила, заложенная в преходящей слабости. Брак превращает ослепление в выносливость, и сила этой выносливости должна быть – и, к счастью, нередко и бывает – соразмерна степени одурения, на смену которому она приходит; Оук начал все чаще задумываться над этим и наконец сказал себе: «Или она будет моей женой, или, клянусь богом, я совсем пропаду».

Последнее время он тщетно ломал себе голову, выискивая предлог, который бы позволил ему пойти к тетушке Батшебы, в ее коттедж.

Наконец ему представился удобный случай – у него пала овца, и от нее остался ягненок. В один погожий день, который глядел по-летнему, а знобил по-зимнему, ясным январским утром, когда людям, настроенным радостно, глядя на голубые просветы и серебрящиеся на солнце края облаков, казалось, что все небо вот-вот

станет синим, Оук положил ягненка в добротную кошелку для воскресных покупок и пошел через пастбище к дому миссис Херст, тетушки Батшебы; его пес Джорджи бежал за ним следом с сильно озабоченным видом, казалось, он был явно встревожен тем серьезным оборотом, какой с некоторых пор начали принимать их пастушеские дела.

Сколько раз, поглядывая на голубой дымок, вьющийся из трубы ее дома, Габриэль предавался странным мечтам. Глядя на него вечерами, он представлял себе его путь от конца к началу и мысленно следовал за ним по трубе к очагу, а там возле очага сидела Батшеба в том самом платье, в котором она приходила на холм; ибо Батшеба представлялась ему не иначе, как в этом платье, и его чувство распространялось на него, как и на все, что было связано с ней. На этой ранней стадии любви ее платье казалось ему неотделимой частью милого целого, имя которому было Батшеба.

Он постарался одеться прилично случаю, а чтобы произвести впечатление изящной небрежности, отобрал кое-что от парадной одежды, которую он надевал в ненастные праздничные дни, а кое-что от выходного костюма, в котором в хорошую погоду ездил на кэстербриджский рынок. Он старательно вычистил мелом свою серебряную цепочку для часов, вдел новые шнурки в башмаки, предварительно осмотрев все медные колечки для шнуровки, исходил всю буковую рощу, забрался в самую ее чащу в поисках подходящего сука, из которого он на обратном пути смастерил себе новую палку; затем он достал из своего платяного сундука новый носовой платок, облачился в светлый жилет с пестрым узором из тоненьких веточек, сплошь покрытых цветами, напоминающими красотой розу и лилию, но без их недостатков; извел на свои сухие, рыжеватые, вихрастые, курчавые волосы всю имевшуюся у него помаду, добившись того, что они приобрели наконец совершенно новый, роскошно сверкающий цвет – нечто среднее между гуано и роман-цементом – и плотно пристали к его голове, как кожура к ядру у мускатного ореха или морские водоросли к гладкому камню после отлива.

Кругом коттеджа стояла тишина, которую нарушало только громкое чириканье воробьев, собравшихся кучкой под навесом кровли, можно было подумать, что для этого маленького сблища на крыше сплетни и пересуды не менее излюбленное занятие, чем и для всех сблищ, происходящих под крышами.

Судьба, по всем признакам, не благоприятствовала Оуку; первое, что он увидел, подойдя к дому, не предвещало ничего доброго: у самой калитки их встретила

кошка, которая, выгнув горбом спину с вздыбленной шерстью, злобно ощерилась на Джорджи. Пес не обратил на нее ни малейшего внимания, ибо он достиг того возраста, когда с откровенным цинизмом предпочитал щадить себя и не лаять попусту, – и, сказать правду, он никогда не лаял даже на овец, разве только когда требовалось призвать их к порядку, и тогда он делал это с совершенно невозмутимым видом, как бы подчиняясь необходимости выполнить эту неприятную обязанность – время от времени припугивать их, для их же блага. Из-за лавровых кустов, куда бросилась кошка, раздался голос:

– Бедная киска! Противный, злой пес хотел растерзать тебя? Да? Ах ты, моя бедняжка!

– Простите, – сказал Оук, обернувшись на голос, – Джорджи шел позади меня, смирный, как овечка.

И вдруг, он даже не успел договорить, сердце у него екнуло – чей это был голос и кому он отвечает. Никто не появился. И из-за кустов слышались удалявшиеся шаги.

Габриэль остановился в раздумье, он думал так сосредоточенно, что от усилия на лбу у него проступили морщины. Когда исход свиданья сулит человеку какую-то важную перемену в жизни – к лучшему или к худшему, – всякая непредвиденность, когда он идет на это свиданье, всякое отступление от того, к чему он готовился, действует на него обескураживающе. Он направился к крыльцу несколько озадаченный. Его представление о том, как все это произойдет, с самого начала сильно расходилось с действительностью.

Тетушка Батшебы была дома.

– Не будете ли вы так добры сказать мисс Эвердин, что некто очень желал бы побеседовать с ней, – обратился к ней Оук.

(Сказать о себе «некто» и не назвать себя – отнюдь не свидетельствует о дурном воспитании в деревне, нет, это проистекает из такого исключительного чувства скромности, о каком люди городские с их визитными карточками и докладываниями даже и понятия не имеют.)

Батшебы не было дома. Ясно, это был ее голос.

– Заходите, прошу вас, мистер Оук.

– Благодарствую, – отвечал Габриэль, проходя вслед за хозяйкой к камину. – Я вот принес ягненочка мисс Эвердин; я так подумал, может, ей будет приятно его выходить; молодые девушки любят с малышами возиться.

– Что ж, может, она и рада будет, – задумчиво отвечала миссис Херст, – но ведь она ко мне только погостить приехала. Да вы подождите минутку, она вот-вот вернется.

– Что ж, я подожду, – сказал Габриэль, усаживаясь. – Признаться, миссис Херст, я вовсе не из-за ягненка пришел. Я, знаете, хотел спросить ее, не пойдет ли она за меня замуж?

– Нет, правда?

– Да. Потому как, если она согласна, я хоть сейчас рад был бы на ней жениться. Вы вот, должно быть, знаете, не ухаживает ли за ней какой-нибудь другой молодой человек.

– Дайте-ка хоть подумать, – отвечала миссис Херст, тыкая кочергой в угли без всякой надобности. – Ну, да уж что там, ясное дело, молодых людей около нее хватает. Сами понимаете, фермер Оук, девчонка хорошенькая и образование отличное получила, одно время она даже в гувернантки собиралась поступить, да вот нрав у нее уж больно строптивый. Ну конечно, у себя в доме я ее молодых людей не встречала, они сюда не показываются, но женскую натуру сразу видать, я думаю, их у нее добрая дюжина.

– Плохо мое дело, – промолвил фермер Оук, грустно уставившись на трещину в каменном полу. – Я, конечно, человек незаметный, прямо скажу, только на то и надеялся, что я первым буду... Ну, стало быть, нечего мне и дожидаться, я ведь только за тем и пришел. Уж вы простите меня, миссис Херст, я, пожалуй, пойду.

Габриэль успел пройти шагов двести по склону холма, когда сзади до него донесся крик: «Эй, эй!» – причем голос был гораздо тоньше и пронзительней, чем можно обычно услышать на пастбище. Он обернулся и увидел, что за ним

бежит какая-то девушка и размахивает над головой белым платком.

Он остановился. Бегущая фигура быстро приближалась. Это была Батшеба Эвердин. Габриэль вспыхнул, а у нее щеки так и пылали, но не от волнения, как потом выяснилось, а от бега.

– Фермер Оук, я... – вымолвила она, с трудом переводя дух, и остановилась перед ним, полуотвернувшись, прижав руку к боку и глядя в сторону.

– Я только что был у вас, – сказал Габриэль, не дождавшись, пока она договорит.

– Да, я знаю, – отвечала она, дыша часто и прерывисто, как пойманная малиновка, а лицо у нее было все влажное и красное, точно лепестки пиона, пока на нем не обсохла роса. – Я не знала, что вы пришли сделать мне предложение, а то бы я не задержалась в саду. Я побежала за вами, сказать вам, что тетя напрасно вас отослала и отсоветовала ухаживать за мной.

Габриэль просиял.

– Уж вы простите, дорогая, что вам пришлось бежать так быстро, чтобы нагнать меня, – сказал он с чувством бесконечной признательности за ее благосклонность. – Обождите немножко, отдышитесь.

– Это неверно, что тетя сказала вам, будто у меня уже есть молодой человек, – продолжала Батшеба. – У меня нет никакого поклонника и никогда не было, мне стало очень досадно, что она внушила вам, будто у меня их много!

– Как я рад слышать это, вот уж рад, – сказал фермер Оук, расплываясь до ушей в блаженной улыбке и вспыхивая от радости. Он протянул руку к ее руке, которую она, отдышавшись, отняла от бока и теперь грациозно прижимала к груди, чтобы унять частые биения сердца.

Но как только он схватил ее за руку, она тут же отдернула ее, рука, как угорь, выскользнула из его пальцев и спряталась за спину.

– У меня славная маленькая доходная ферма, – сказал Габриэль уже далеко не с той уверенностью, с какой он схватил ее руку.

– Да, я знаю, у вас ферма.

– Один человек одолжил мне денег, чтобы я мог обзавестись всем, чем надо, но я скоро выплачу свой долг, и, хоть я человек маленький, все-таки я кой-чего добился с годами. – Габриэль так выразительно подчеркнул это «кой-чего», что ясно было, что он только из скромности не сказал «очень многого». – Когда мы поженимся, – продолжал он, – я ручаюсь, что буду работать вдвое больше, чем сейчас.

Он шагнул к ней и снова протянул руку. Батшеба нагнала его на краю луга, где рос невысокий куст остролиста, сейчас сплошь усыпанный красными ягодами. Видя, что его рука грозит поймать ее, если не обнять, Батшеба скользнула за куст.

– Что вы, фермер Оук, – сказала она, глядя на него поверх куста удивленно округлившимися глазами. – Я вовсе не говорила, что собираюсь за вас замуж.

– Вот так так! – упавшим голосом протянул Оук. – Бежать за человеком вдогонку только за тем, чтобы сказать, что он вам не нужен...

– Я только хотела сказать, – с жаром начала она, тут же начиная сознавать, в какое дурацкое положение она себя поставила, – что меня еще никто не называл своей милой, ни один человек, а не то что дюжина, как наговорила тетя. Я даже подумать не могу, чтобы на меня кто-то смотрел как на свою собственность, хотя, может, когда-нибудь это и случится. Да разве я побежала бы за вами, если бы я хотела за вас замуж? Ну, знаете, это была бы такая распущенность! Но догнать человека и сказать, что ему наговорили неправду, в этом ведь нет ничего дурного.

– Нет, нет, ничего дурного. – Но иной раз, сказав что-нибудь не думая, человек переступает меру своего великодушия, – и Оук, охватив мысленно все происшедшее, добавил чуть слышно: – Впрочем, я не уверен, что в этом не было ничего дурного.

– Но, право же, когда я пустилась за вами вдогонку, я даже и подумать не успела, хочу я замуж или нет, – ведь вы бы уже перевалили через холм.

– А что, если вы подумаете, – сказал Габриэль, снова оживая. – Подумайте минутку-другую. Я подожду, а, мисс Эвердин, пойдете вы за меня замуж? Скажите «да», Батшеба. Я люблю вас так, что и сказать не могу...

– Попробую подумать, – отвечала она уже далеко не так уверенно, – боюсь только, что я не способна думать под открытым небом, мысли так и разбегаются.

– А вы попробуйте представить себе.

– Тогда дайте мне время. – И Батшеба, отвернувшись от Габриэля, задумчиво уставилась вдаль.

– Я все сделаю, чтобы вы были счастливы, – убеждал он, обращаясь через куст остролиста к ее затылку. – Через год-другой у вас будет пианино – жены фермеров теперь стали обзаводиться пианино, а я буду разучивать за вами на флейте, чтобы играть вместе по вечерам.

– Да, это мне нравится...

– А для поездок на рынок мы купим за десять фунтов маленькую двуколку, и у нас будут красивые цветы и птицы – всякие там куры и петухи. Я хочу сказать, потому как они полезные, – увещевал Габриэль, прибегая то к поэзии, то к прозе.

– И это мне очень нравится...

– И парниковая рама для огурцов, как у настоящих джентльменов и леди.

– М-да.

– А когда нас обвенчают, мы дадим объявление в газету, знаете, в разделе бракосочетаний.

– Вот это будет замечательно!

– А потом пойдут детки, и от каждого такая радость! А вечером у камина, стоит вам поднять глаза – и я тут возле вас, и стоит мне только поднять глаза – и вы

тут со мной.

– Нет, нет, постойте и не говорите таких неприличных вещей!

Батшеба нахмурилась и некоторое время стояла молча. Он смотрел на красные ягоды, отделявшие ее от него, смотрел и смотрел на них, не отрываясь, и так долго, что эти ягоды на всю жизнь остались для него символом объяснения в любви. Наконец Батшеба решительно повернулась к нему.

– Нет, – сказала она. – Ничего не получается. Не пойду я за вас замуж.

– А вы попробуйте.

– Да я уж и так пробовала представить себе, пока думала; в каком-то смысле, правда, конечно, очень заманчиво выйти замуж: обо мне будут говорить, и, конечно, все будут считать, что я ловко вас обошла, а я буду торжествовать и все такое. Но вот муж...

– Что муж?

– Он всегда будет рядом, как вы говорите... стоит только поднять глаза – и он тут...

– Ну конечно, он будет тут... то есть я, значит.

– Так вот в этом-то все и дело. Я хочу сказать, что я не прочь побыть невестой на свадьбе, только чтобы потом не было мужа. Ну, а раз уж нельзя просто так, чтобы покрасоваться, я еще повременю, во всяком случае, пока еще мне не хочется выходить замуж.

– Но ведь это просто слушать страшно, что вы говорите.

Обиженная таким критическим отношением к ее чистосердечному признанию, Батшеба отвернулась с видом оскорбленного достоинства.

– Клянусь чем хотите, честное слово, я даже не могу себе представить, как только молодая девушка может говорить подобные глупости! – вскричал

Оук. – Батшеба, милая, – жалобно продолжал он, – не будьте такой. – И Оук глубоко вздохнул от всего сердца, так что даже ветер пронесся в воздухе, словно вздохнула сосновая роща. – Ну почему бы вам не пойти за меня, – умолял он, пытаюсь приблизиться к ней сбоку, из-за куста.

– Не могу, – ответила она и попятилась.

– Но почему же? – повторял он, уже отчаявшись достичь ее и не двигаясь с места, но глядя на нее поверх куста.

– Потому что я не люблю вас.

– Да... но...

Она подавила зевок, чуть заметно, так, чтобы это не показалось невежливым.

– Я не люблю вас, – повторила она.

– А я люблю вас, и если я вам не противен, что ж...

– О, мистер Оук! Какое благородство! Вы же сами потом стали бы презирать меня.

– Никогда! – вскричал Оук с таким жаром, что, казалось, вслед за этим вырвавшимся у него словом он сейчас и сам бросится прямо через куст в ее объятия. – Всю жизнь теперь – это уж я наверняка знаю, всю жизнь я буду любить вас, томиться по вас и желать вас, пока не умру. – В голосе его слышалось глубокое волнение, и его большие загорелые руки заметно дрожали.

– Конечно, ужасно нехорошо ответить отказом на такое чувство, – промолвила не без огорчения Батшеба, беспомощно оглядываясь по сторонам, словно ища выхода из этого морального затруднения. – Как я теперь раскаиваюсь, что побежала за вами! – Но, по-видимому, она была не склонна долго огорчаться, и лицо ее приняло лукавое выражение. – Ничего у нас с вами не получится, мистер Оук, – заключила она. – Мне нужен такой человек, который мог бы меня укротить, очень уж я своенравна, а я знаю, вы на это не способны.

Оук стоял, опустив глаза и уставившись в землю, словно давая понять, что он не намерен вступать и бесполезные пререкания.

– Вы, мистер Оук, – снова заговорила она каким-то необыкновенно рассудительным и не допускающим возражений тоном, – в лучшем положении, чем я. У меня нет ни гроша за душой, я живу у тети, просто чтобы не пропасть с голоду. Я, конечно, образованнее вас – но я вас нисколько не люблю. Вот вам все, что касается меня. Ну, а что касается вас, – вы только что обзавелись фермой, вам, по здравому смыслу, если уж вы задумаете жениться (что вам, конечно, сейчас ни в коем случае не следует делать), надо жениться на женщине с деньгами, которая могла бы вложить капитал в вашу ферму, сделать ее гораздо более доходной, чем она сейчас.

Габриэль смотрел на нее с нескрываемым восхищением и даже с некоторым изумлением.

– Так ведь это как раз то, о чем я сам думал, – простодушно признался он.

Габриэль обладал некоторым излишеством христианских добродетелей – его смирение и избыток честности сильно вредили ему в глазах Батшебы. Она, по-видимому, никак не ожидала такого признания.

– Тогда зачем же вы приходите беспокоить меня зря? – вскричала она чуть ли не с возмущением, и щеки ее вспыхнули, и алая краска разлилась по всему лицу.

– Да вот не могу поступать так, как, казалось бы...

– Нужно?

– Нет, разумно.

– Ну вот вы и признались теперь, мистер Оук! – воскликнула она еще более заносчиво, презрительно качая головой. – И вы думаете, после этого я могла бы выйти за вас замуж? Ну, уж нет.

– Неправильно вы все толкуете! – не выдержав, вспылил Габриэль. – Оттого только, что я чистосердечно открылся вам, какие у меня были мысли, а они

у всякого были бы на моем месте, вы вдруг почему-то кипятитесь, вон, даже все лицо запылало, и накидываетесь на меня. И то, что вы для меня не пара, – тоже вздор! Разговариваете вы, как настоящая леди, все это замечают, и ваш дядюшка в Уэзербери, слышать, крупный фермер, такой, что мне за ним никогда не угнаться. Разрешите мне прийти к вам в гости вечером, или, может быть, пойдете погулять в воскресенье. Я вовсе не настаиваю, чтобы вы так сразу решили, если вы колеблетесь.

– Нет, нет, не могу. И не уговаривайте меня больше. Я вас не люблю и... это было бы смешно, – сказала она и засмеялась.

Кому приятно, чтобы его подымали на смех и потешались над его чувствами!

– Хорошо, – сказал Оук твердо и с таким видом, как будто для него теперь не осталось ничего другого, как только дни и ночи черпать утешение в Екклесиасте. – Больше я вас просить не буду.

Глава V

Батшеба уехала. Пастушеская трагедия

Когда до Габриэля дошли слухи, что Батшеба Эвердин уехала из здешних мест, это известие оказало на него такое действие, какое, наверно, показалось бы неожиданным всякому, кому не случалось наблюдать – чем с большим жаром мы от чего-либо отрекаемся, тем менее действенно и бесповоротно наше отречение.

Многим пришлось испытать на себе, что дорога, которой можно уйти от любви, гораздо трудней той, что ведет к ней. Иной человек, запутавшись, вступает в брак, рассматривая это как способ полегче выпутаться, но и этот способ, как мы знаем, не всегда помогает. Исчезновение Батшебы предоставляло Оуку счастливую возможность воспользоваться способом разлуки, который для людей некоего определенного склада оказывается как нельзя более действенным, а других побуждает идеализировать отсутствующий предмет любви, в особенности тех, чье чувство – казалось бы, спокойное, ровное – пустило глубоко прочные, невидимые ростки. Оук принадлежал к разряду

уравновешенных людей и чувствовал, что его тайное влечение к Батшебе теперь, когда она уехала, разгорается еще сильнее – вот и все. Дружественные отношения с ее теткой были пресечены в самом зародыше его неудачным сватовством, и все, что Оук знал о Батшебе, доходило до него стороной. Говорили, что она уехала в селение Уэзербери в двадцати милях отсюда, но уехала ли она погостить или навсегда, Оук так и не мог дознаться.

У Габриэля были две собаки. Старший пес Джорджи, с черным, как деготь, кончиком носа, выступавшим из узенькой каемки голой розоватой кожи, был лохматый пес с длинной шерстью, цвет которой, переходя от пятна к пятну, в общем сливался в белый с грифельно-серым; но с годами серый цвет в верхних слоях шерсти выцвел и вылинял от солнца и дождя и стал красновато-бурым, как если бы синяя краска, входящая в состав серого, поблекла, как индиго на некоторых картинах Тернера. Что же касается шерсти, то в самой своей сущности первоначально это был волос, но от долгого общения с овцами он, мало-помалу сваявшись, превратился в шерсть весьма невысокого качества и прочности. Этот пес принадлежал раньше пастуху очень распущенного и буйного нрава, поэтому Джорджи так хорошо различал все нюансы разных замысловатых ругательств и проклятий, что ни один самый сварливый старик во всей округе не мог бы с ним в этом сравниться. Долгий опыт научил его так точно определять разницу между окриком: «Сюда!» и «А, ч-черт, сюда!» – что, бросаясь со своего места позади стада на зов хозяина, он безошибочно набирал ту скорость, какая требовалась в том или ином случае, дабы избежать взбучки. Хотя теперь он уже был старый, тем не менее это был умный пес, заслуживающий доверия.

Молодой пес, сын Джорджи, должно быть, вышел в мать, потому что между ним и Джорджи что-то не замечалось сходства. Он учился ходить за стадом, чтобы потом остаться при нем на месте Джорджи, когда тот умрет. Но пока что он еле усвоил только самые основные правила и до сих пор никак не мог постичь одной непреодолимой трудности – научиться различать, когда делаешь очень хорошо, а когда слишком хорошо. Это был такой старательный и бестолковый пес (у него еще не было собственного имени, и он с одинаковой готовностью откликался на любой приветливый оклик), что, когда его посылали подогнать стадо, он так ревностно брался за дело, что с радостью прогнал бы отару через все графство, если бы его не отзывали или если бы не пример старого Джорджи, который показывал ему, что пора остановиться.

На этом мы пока расстанемся с собаками. На дальнем краю Норкомбского холма была меловая яма, откуда окрестные крестьяне из поколения в поколение доставали мел для своих полей. Яма с двух сторон была обнесена загородками, которые, не смыкаясь концами, возвышались над ней в виде буквы «V». Узкий промежуток между ними над самым обрывом был закрыт мостками из досок.

Однажды после ночного обхода, вернувшись к себе домой и полагая, что его помощь не потребуется в загоне до утра, фермер Оук вышел на порог покликать, как всегда, собак, чтобы закрыть их на ночь в сарае. На зов прибежал только старый Джорджи; другой нигде не было видно, ни в доме, ни за плетнем, ни на огороде. Тут Габриэль вспомнил, что он оставил обеих собак на холме, предоставив им на съедение павшего ягненка (пища, которая им обычно не разрешалась, а только в тех случаях, когда запасы подходили к концу), и, решив, что молодой пес еще не разделался с ужином, вошел в хижину и с наслаждением растянулся на своем ложе – роскошь, которую за последнее время он позволял себе только по воскресеньям.

Перед рассветом его разбудила какая-то странная перемена в доносившихся до него привычных звуках. Для пастуха звон овечьих бубенцов, так же как тиканье часов для других людей, – это звук, с которым он до такой степени свыкся, что перестает замечать его, пока он не прервется или не нарушится внезапно каким-то необычным изменением того знакомого мерного позвякивания, которое, даже если его едва слышно, говорит издали привычному слуху, что в загоне все благополучно. В глубокой тишине пробуждающегося утра звуки, доносившиеся до Габриэля, отличались необычной частотой и стремительностью. Такой непохожий на обыденный звон бывает в двух случаях: когда стадо выгоняют на корм, овцы, рассыпаясь по пастбищу, начинают поспешно щипать, и от их бубенцов стоит частый перемежающийся звон; или когда стадо бросается бежать, тогда бубенцы звенят непрерывно и стремительно. Оук, с его опытным ухом, сразу распознал, что это звон бегущего опрометью стада.

Он вскочил и, напяливая на ходу куртку, ринулся в предрассветный туман, через дорогу к склону холма. Овцы-матки помещались отдельно от овец, которым еще предстояло ягниться, и этих последних в гурте Габриэля было двести голов. Их нигде не было видно. Пятьдесят маток с ягнятами, укрытые в дальнем конце загона, так и лежали там, но все остальные – а они-то и составляли основную массу гурта – точно куда-то сгнули. Габриэль стал кликать их во всю мочь обычным пастушеским кликом:

– Оо-э! Оо-э!

Ни одного ответного блеянья. Он подошел к изгороди и увидел, что она в одном месте повалена и вокруг следы овец. Его очень удивило, что овцам в зимнее время приспичило вылезать из загона, но он тут же объяснил это их пристрастием к плющу, который в изобилии рос в буковой роще, и пошел через пролом. В роще их не было. И он снова стал кликать, и дальние холмы и долины откликались эхом, как тем мореплавателям, которые кликали пропавшего Гиласа у Мизийских берегов; но овец не было. Он пробрался сквозь чащу деревьев и пошел по гребню холма.

На дальнем конце гребня, на самой вершине, там, где края загоронок, о которых говорилось выше, расступались над меловым обрывом, он увидел своего пса; он стоял, четко выделяясь на посветлевшем небе, темный, неподвижный, словно Наполеон на острове Св. Елены.

Страшная догадка осенила Оука. Весь как-то сразу ослабев, он медленно приблизился; в дощатом настиле зияла дыра, и кругом везде были следы овец. Пес подошел и лизнул ему руку, всем своим видом явно давая понять, что он ждет особой награды за свою замечательную службу. Оук заглянул в яму. Мертвые и подышающие овцы лежали на дне – груда искалеченных овец, две сотни, а поскольку все это были суягные овцы – выходило не две, а по меньшей мере вдвое больше.

Оук был на редкость отзывчивый человек; сказать по правде, его отзывчивость нередко оказывалась препятствием для кое-каких стратегических замыслов, ибо стоило ему задумать что-нибудь, она брала над ним верх, и все его хитроумные планы рушились. Он всегда огорчался тем, что его стаду написано на роду стать бараниной, что для каждого пастуха наступает день, когда он становится гнусным предателем своих беззащитных овец. И сейчас его прежде всего охватило чувство жалости к этим безвременно погибшим кротким овечкам и их неродившимся ягнятам.

И лишь потом это бедствие предстало перед ним с другой стороны. Овцы не были застрахованы, все его сбережения, накопленные лишениями и трудом, пошли прахом; рухнули – и уж, верно, навсегда – все его надежды выбиться в независимые фермеры. Столько усилий, терпенья и усердия стоили Габриэлю эти годы его жизни с восемнадцати до двадцати восьми лет, чтобы достичь теперешнего положения, что сейчас он как будто весь выдохся. Он прислонился

к загородке и закрыл лицо руками.

Но ошеломенение не длится вечно, и фермер Оук опаматовался и пришел в себя. И что удивительно и как нельзя более характерно для него – первые слова, вырвавшиеся у него, были словами благодарности.

– Благодарю тебя, боже, что я не женат! Каково бы ей теперь пришлось в бедности, которая ждет меня.

Он поднял голову и, задумавшись над тем, что ему теперь делать, безучастно глядел прямо перед собой. По ту сторону ямы лежал небольшой овальный пруд, а над ним висел тонкий серп месяца, доживавшего последние дни, – утренняя звезда уже наступала на него слева. Пруд мерцал тускло, как глаз покойника, но кругом уже все пробудилось к жизни, задул ветер, заколыхал, растянул, не дробя, абрис месяца, а звезду разметал по воде фосфорическими искрами. Все это Оук видел и запомнил.

Насколько можно было установить, как все это произошло, по-видимому, бедный пес, по-прежнему пребывавший в уверенности, что его держат для того, чтобы гонять овец, и, следовательно, чем больше их гонять, тем лучше, поужинав павшим ягненком и почувствовав после этого прилив энергии и бодрости, поднял овец и погнал их к изгороди. Напуганные животные прорвались через ограду на верхнее пастбище; пес погнал их наперерез вверх по склону и пригнал к обрыву, где они всем гуртом сбились у мостков; подгнившие доски не выдержали, и все стадо рухнуло в яму. Сын Джорджи сделал свое дело так основательно, что его сочли чересчур исполнительным, чтобы оставить в живых, и в полдень того же дня жизнь его трагически окончилась. Еще один пример грустной участи, которая частенько выпадает на долю собак и прочих философов, пытающихся доходить в своих рассуждениях до логического конца и поступать с неуклонной последовательностью в мире, где все держится главным образом на компромиссах.

Овец для своей фермы Габриэль приобрел у торговца, который, положившись на его добрую репутацию и степенный вид, поверил ему в долг с начислением процентов до тех пор, пока он не выплатит все до конца. Оук подсчитал, что стоимости уцелевших овец, инвентаря и имущества, составлявшего его личную собственность, хватит только на то, чтобы погасить долг, после чего он будет волен располагать собой, и, кроме того, что на нем надето, у него не останется ровно ничего.

Глава VI

Ярмарка. Путешествие. Пожар

Прошло два месяца. Стоял февральский день, день, когда по издавна укоренившемуся обычаю в Кэстербридже состоится ежегодная ярмарка найма, фермеры нанимают себе работников. На одном конце улицы теснилось двести-триста человек здоровых, горластых мужиков, – они пришли сюда попытать счастья; все это были люди одного склада, для которых труд – это всего-навсего привычная необходимость преодолевать земное тяготение, а высшее блаженство – когда эта необходимость отпадает. Тут были возчики и обозники, которых можно было сразу узнать по обмотанной вокруг шляпы бечеве от кнута, кровельщики с нацепленными на шляпы пучками плетеной соломы, пастухи с изогнутыми узловатыми посохами в руках, так что нанимателю с первого взгляда было ясно, кто какого рода работы ищет.

В этой толпе заметно выделялся один молодой человек атлетического сложения. Он отличался от других каким-то неуловимым, но настолько явным превосходством, что стоявшие поблизости загорелые парни один за другим осведомлялись у него насчет работы, обращаясь к нему, как к фермеру, с почтительным «сэр». Он отвечал всем одно и то же:

– Я сам ищу места управителя на ферме. Не слышали ли, кому нужно?

Габриэль побледнел за это время. Взгляд у него стал более задумчивым, и в выражении лица появилось что-то грустное. Он прошел через горнило несчастий, которые дали ему больше, чем отняли. Он опустился со скромных высот своего пастушеского процветания в бездну самой унижительной нищеты, но он обрел незыблемое спокойствие, какого никогда не знал раньше, и то равнодушие к собственной судьбе, которое одного делает подлецом, а другого, напротив, духовно растит и возвышает. Итак, унижение способствовало его возвышению, а утрата оказалась выигрышем.

В этот день утром кавалерийский полк, стоявший здесь, снимался с постоя, и сержант-вербовщик с отрядом солдат гарцевал по всему городу, зазывая

новобранцев. По мере того как день подходил к концу и близился вечер, а Габриэля все так никто и не нанимал, он стал жалеть, что не записался в солдаты и упустил случай отправиться в дальние края служить отечеству. Он устал топтаться без толку по рыночной площади, а так как ему, в сущности, было все равно, на какую бы его ни взяли работу, он решил попробовать наняться не управителем, а работником.

Похоже было, что всем фермерам требовались пастухи. А для Габриэля ходить за стадом было привычным делом.

Он повернул с площади на какую-то глухую улочку, а оттуда в еще более глухой переулок и вошел в кузницу.

– Сколько вам надо времени сделать крюк для посоха?

– Двадцать минут.

– А что это будет стоить?

– Два шиллинга.

Габриэль сел на скамью. Ему сделали крюк и даже дали палку в придачу.

Затем он отправился в лавку готового платья, хозяин которой был свой человек в округе. Так как почти все свои деньги Габриэль отдал за крюк, он решил попытаться обменять свое пальто на холщовую пастушескую блузу, что и сделал.

После того как этот обмен совершился, он вернулся на рынок и стал на краю тротуара, с посохом в руке, как пастух. И надо же, чтобы теперь, когда он преобразился в пастуха, спрос только и был что на управителей. Все же сначала один, потом еще два-три фермера заметили его; один за другим они подходили к нему, и всякий раз следовал примерно такой разговор:

– А ты откуда?

– Из Норкомба.

– Не ближний конец.

– Пятнадцать миль.

– У кого последнее время работал? На чьей ферме?

– На своей собственной.

Этот ответ всякий раз неизменно оказывал такое же действие, как слух о холере. Осведомлявшийся фермер пятился и поспешно уходил, с сомнением покачивая головой. Габриэль, подобно своему псу, был слишком хорош, чтобы на него можно было положиться; так дальше этого разговора дело и не шло. Куда вернее ухватиться за первую подвернувшуюся возможность и поступить сообразно, чем иметь наготове заранее обдуманый план и выжидать, когда представится случай осуществить его. Габриэль теперь жалел, что связал себя отличительными знаками пастуха, – не будь этого, он мог бы подрядиться на любую работу, выбрав из того, на что был спрос.

Уже смеркалось. Какие-то гуляки насвистывали и распевали возле хлебной биржи. Габриэль стоял, засунув руки в карманы своей пастушеской блузы, и пальцы его машинально нащупали флейту, которую он переложил туда.

Вот тут-то и представлялся случай проявить мудрость, приобретенную столь дорогой ценой.

Он достал флейту и заиграл песенку «Ярмарочный плут», да так задорно, как если бы это играл человек, не испытывший в жизни никаких огорчений. Оук умел извлекать из своей флейты истинно аркадские звуки, и сейчас знакомая мелодия радовала его самого не меньше, чем столпившихся кругом зевак. Он играл с увлечением и за полчаса собрал пенсами изрядную сумму, которая для неимущего человека представляла собой маленький капитал.

Порасспросив людей, он узнал, что на другой день такая же ярмарка найма будет в Шоттсфорде.

– А далеко ли до Шоттсфорда?

– Миль десять от Уэзербери.

«Уэзербери! Куда уехала Батшеба тому назад два месяца!» Это известие вдруг словно озарило все кругом, как если бы ночь превратилась в ясный день.

– А сколько отсюда до Уэзербери?

– Миль пять-шесть.

Батшеба, наверно, уже давно уехала из Уэзербери, и все же для Оука это место обладало такой притягательной силой, что он только потому и решил попытаться счастья на Шоттсфордской ярмарке, что это было неподалеку от Уэзербери. Да и народ в Уэзербери такой, что посмотреть любопытно. Если верить молве, так других таких смельчаков, удачливых, озорных и веселых, во всем графстве не сыщешь. Оук решил, что ему по пути в Шоттсфорд можно будет переночевать в Уэзербери, и, недолго думая, свернул на проселочную дорогу, которая, как ему сказали, вела прямо к этому селению.

Дорога шла через заливные луга, по которым там и сям бежали ручьи; вода в них, подернутая рябью, струилась посредине бороздой и набегала складками по краям, а там, где течение убыстрялось, на поверхности выступали клочья белой пены, которые, невозмутимо покачиваясь, спокойно скользили по воде. Затем дорога пошла вверх, мертвые сухие листья взметались и кружили, подхваченные ветром, и со стуком падали на землю; маленькие птицы в изгородях шелестели перышками, устраиваясь поудобнее на ночь, и замирали, когда Оук проходил мимо, а если он останавливался поглядеть на них, они снимались с места и улетали.

Путь его лежал через Иелберийский лес, где глухари и фазаны уже садились на ночлег и слышались надтреснутые «ку-юк, ку-юк» фазана-самца и захлебывающееся посвистывание курочек.

Он прошел всего три или четыре мили, а кругом, куда ни кинь глаз, уже все окуталось черной густой мглой. Когда он спустился с Иелберийского холма, он с трудом различил в двух шагах от себя крытую телегу, стоявшую под большим деревом на обочине дороги.

Приблизившись, он увидел, что телега без лошади и кругом ни души. По-видимому, телегу оставили здесь на ночь, потому что, кроме растрепанной вязанки сена на дне, в ней больше ничего не было. Габриэль уселся на дышло и стал раздумывать, как ему поступить. Он рассчитал, что прошел больше половины пути, а так как он с раннего утра был на ногах, его сейчас сильно прельщало растянуться на сене в телеге вместо того, чтобы тащиться в Уэзербери и там платить за ночлег.

Он доел последний оставшийся у него ломоть хлеба с мясом, запил несколькими глотками сидра из бутылки, которую он предусмотрительно взял с собой, и залез в покинутую телегу. Разворошив часть сена, он улегся на него, а остальным, насколько удалось нащупать в темноте, накрылся с головой, как одеялом, и почувствовал себя так уютно, как никогда в жизни.

Конечно, для такого человека, как Оук, склонного гораздо больше других копаться в самом себе, трудно было отделаться от горьких мыслей в теперешнем его положении. Итак, размышляя о своих любовных и пастушеских горестях, он вскоре уснул, ибо пастухи, как и моряки, наделены исключительным даром – они могут вызвать к себе бога сна, а не дожидаться, когда он соизволит сойти.

Оук не имел представления, сколько времени он спал, когда, вдруг проснувшись, обнаружил, что телега движется. Она катила по дороге с очень большой скоростью для безрессорного экипажа, и Оук проснулся с неприятным ощущением барабанного боя в висках, оттого что голова его колотилась о дно телеги. Тут он услышал голоса, доносившиеся с передка телеги. В полном недоумении (которое у человека преуспевающего, наверно, перешло бы в испуг – нет лучшего лекарства от страха, чем несчастье) Габриэль осторожно выглянул из-под сена, и первое, что он увидел, были звезды у него над головой. Большая Медведица уже почти стояла под прямым углом к Полярной звезде, из чего он заключил, что время близится к девяти, – значит, он проспал два часа. Это маленькое астрономическое вычисление не стоило ему никаких усилий, он произвел его, стараясь бесшумно повернуться, чтобы по мере возможности выяснить, к кому это он попал в руки.

Впереди смутно виднелись две фигуры, сидевшие, свесив ноги, на облучке; один из сидящих правил. Габриэль сразу догадался, что это хозяин телеги, возчик, и что оба они, должно быть, как и он, возвращаются с ярмарки в Кэстербридже.

Между ними шел разговор, и Габриэль слышал его продолжение.

– Так-то оно так, ничего не скажешь, пригожая, ладная бабенка. Да ведь это что, видимость одна, поглядеть приятно, а вот нрав у них, у этих пригожих, – не приведи бог, вот уж гордыня сатанинская.

– М-да, похоже, что так, похоже, что так, Билли Смолбери.

Это произнес сильно дребезжащий голос. Таким он, по-видимому, был от природы, но это присущее ему свойство усиливалось тряской и толчками телеги, действие коих явно отражалось на голосовых связках говорившего. А говорил тот, который держал вожжи.

– Так про нее все и говорят – спесивая бабенка!

– Ну, ежели так, я на нее и глаз не смогу поднять. Где уж мне, упаси бог, – кхе-кхе-кхе! Я человек робкий!

– М-да, уж так-то собой кичится! Говорят, всякий раз на ночь, перед тем как спать лечь, в зеркало смотрится, чтобы чепчик как следует надеть.

– А сама незамужняя! Надо же!

– А еще говорят, на фортепианах играет! Любой церковный мотив на такой лад разделает, что за самую тебе разудалую песню сойдет, слушаешь – душа радуется.

– Ну и ну! Выходит, нам с тобой повезло, я ровно как воспрял духом! А платит она как?

– Вот уж этого я не знаю, мистер Пурграс.

У Габриэля, прислушивающегося к этому разговору, нет-нет да и мелькала дикая мысль, не о Батшебе ли это идет речь. Конечно, допустить всерьез такое предположение не было никаких оснований, потому что хотя они и ехали в сторону Уэзербери, но, возможно, путь их лежал дальше, да и женщина, о которой они говорили, была явно хозяйкой какой-то усадьбы. Они как будто

уже подъезжали к Уэзербери, и, чтобы не пугать зря увлекшихся разговором спутников, Габриэль незаметно соскочил с телеги. Он направился к проходу в изгороди и, подойдя ближе, обнаружил, что это ворота и они закрыты; он уселся на перекладину и стал раздумывать – идти ли ему в деревню искать дешевого ночлега или устроиться еще дешевле где-нибудь вот тут, под скирдой или под копной сена. Грохот и скрип телеги замерли где-то вдали. Оук уже совсем было собрался идти, как вдруг заметил налево от себя, так примерно в полумиле, какой-то необыкновенный свет. Он пригляделся – свет у него на глазах запылал ярче. Что-то горело.

Взобравшись снова на перекладину ворот, Габриэль спрыгнул на ту сторону и очутился на вспаханном поле; он бросился бегом наперерез, прямо на свет. Зарево, пока он бежал, выросло вдвое и от того, что огонь разгорался, и от того, что он теперь был совсем близко от него; в ярко полыхающем свете впереди отчетливо выступили высокие стога и скирды. Горело на гумне.

Желто-багровый отсвет – отсвет пламени за безлиственной оголенной оградой озарил усталое лицо Оука, и сплетающиеся тени голых колючих веток заплясали узором по его блузе и гетрам, а металлический крюк его пастушеской клюки засверкал серебром. Он остановился у изгороди перевести дух. На гумне как будто не было ни души.

Пламя вырывалось из длинной скирды соломы, уже настолько сгоревшей, что спасти ее нечего было и думать. Скирда горит совсем не так, как дом. Когда ветер загоняет пламя внутрь, воспламенившаяся часть мгновенно исчезает без следа, как тающий сахар, и не видно, куда кинулся огонь. Однако плотно сложенная скирда сена или пшеницы может некоторое время противостоять огню – если она загорелась снаружи, ему не сразу удастся проникнуть внутрь. Но здесь перед Габриэлем была кое-как сложенная, рыхлая скирда, в которую языки пламени ныряли с молниеносной быстротой. Часть ее с наветренной стороны, обуглившаяся и раскаленная докрасна, то вспыхивала, то затухала, словно курящаяся сигара. Потом вдруг свисавший сверху ворох соломы обрушился вниз с шипящим свистом; языки пламени вытянулись, охватили его и загудели спокойно, без треска. Клубы дыма поползли сзади, словно плывущие облака, а скрытые погребальные костры пылали под ними, пронизывая полупрозрачную пелену желтым сверкающим светом.

Растерзанные пучки соломы с краю скирды корчились, опаленные жаром, и скручивались, словно свившиеся узлом красные черви, и над ними маячили

какие-то свирепые рожи, то словно выкатывался сверкающий глаз, то огненный язык высовывался изо рта, или ощеривались какие-то дьявольские пасти, и из них время от времени, словно птицы из гнезда, выпархивали искры.

Как только Габриэль понял, что дело серьезнее, чем ему показалось сначала, он перестал быть просто зрителем. В какой-то момент клуб дыма, подхваченный ветром, отнесло в сторону, и в прорвавшейся пелене Оук увидел прямо против горящей скирды скирду с пшеницей, а за нею еще целый ряд других – может статься, весь урожай фермы; он-то думал, что эта скирда соломы стоит особняком, а оказывается, тут целый склад зерна и скирда за скирдой рядами по всему двору.

Габриэль перемахнул через ограду и тут обнаружил, что он не один. Первый человек, попавшийся ему на глаза, носился впопыхах взад и вперед с таким очумелым видом, как если бы мысли его намного обогнали тело и никак не могли подтянуть его за собой так, чтобы оно поспевало за ними.

– Горим, горим! Добрые люди! Огонь, ох, наделает делов, добрый хозяин, плохой слуга, то бишь плохой слуга, добрый хозяин! Эй, Марк Кларк, сюда, сюда! И ты, Билли Смолбери, эй, Мэриен Мони! Джан Когген, Мэтью, сюда!

Позади вопившего человека появились в дыму другие фигуры, и тени их прыгали вверх и вниз, подчиняясь не столько движениям своих хозяев, сколько взмывающим языкам пламени. Габриэль теперь видел, что он не только не один, но что здесь куча народу. Это сборище людей, принадлежавших к тому классу, который выражает свои мысли посредством чувств, а чувства проявляет смятением, уже порывалось что-то делать, но пока что без всякого толку.

– Прикройте тягу под пшеничной скирдой! – крикнул Габриэль суетившимся возле него людям.

Скирда пшеницы стояла на каменных подскирдниках, и желтые языки пламени от горящей соломы уже резвились между ними и прядали внутрь. А стоило только огню забраться под скирду – все пропало.

– Накиньте скорее брезент!

Притащили брезент и завесили им, как занавеской, продох между подскирдниками. Языки пламени тотчас перестали прядать под скирду, а взмыли кверху.

– Станьте здесь с ведром воды и поливайте брезент, чтобы мокрый был, – командовал Габриэль.

Огненные языки, загнанные вверх, уже начали лизать углы огромного навеса, покрывавшего скирду.

– Лестницу сюда, – крикнул он.

– Лестница у той скирды стояла, сгорела дотла, – отозвался из дыма кто-то, похожий на призрак.

Оук ухватил комли снопов и, оттянув их так, чтобы можно было поглубже засунуть ногу, полез наверх, цепляясь своей клюкой. Взобравшись на навес, он уселся верхом на стыке и принялся сбивать клюкой налетающие туда огненные хлопья, не переставая кричать в то же время, чтобы ему принесли большой сук, лестницу и воды.

Билли Смолбери – один из тех, кто ехал в телеге, – разыскал и притащил лестницу, и Марк Кларк взобрался по ней и уселся рядом с Оуком. Там, наверху, можно было прямо задохнуться от дыма, и Марк Кларк, малый проворный, втащил наверх поданное ему ведро воды, плеснул Оуку в лицо и обрызгал его всего с головы до ног, а тот продолжал сметать горящие хлопья, теперь уже обеими руками, размахивая длинной буковой веткой и клюкой.

Толпившиеся внизу люди все так же суетились, стараясь что-то сделать, чтобы потушить пожар, но по-прежнему без всякого толку. Суетящиеся фигуры, окрашенные в кирпичный цвет, отбрасывали резко очерченные, причудливо меняющиеся тени.

В стороне, за самой большой скирдой, куда почти не проникал свет пламени, стояла лошадка, на которой сидела в седле молодая женщина. Тут же рядом стояла другая женщина. Обе они, по-видимому, нарочно держались подальше от огня, чтобы не пугать лошадь.

– Это пастух, – сказала женщина, стоявшая возле всадницы. – Ну да, пастух. Поглядите, как блестит его крюк, когда он бьет по скирде. А вон блузу-то его, бог ты мой, уже в двух местах прожгло. Молодой красивый пастух, мэм.

– Чей же это пастух? – звонким голосом спросила всадница.

– Не знаю, мэм.

– Но кто-нибудь, наверно, знает?

– Никто не знает, уж я спрашивала. Говорят, не здешний, чужой.

Молодая женщина выехала из-за скирды и с беспокойством огляделась по сторонам.

– Ты как думаешь, рига не может загореться? – спросила она.

– Джан Когген, как по-вашему, рига не может загореться? – переспросила другая женщина стоявшего поблизости человека.

– Теперь-то уж нет, я думаю, можно не опасаться. Вот ежели бы та скирда загорелась, тогда и риге не уцелеть... А так бы оно и было бы, коли б не этот молодой пастух, вон он сидит на той самой скирде и молотит своими длинными ручищами, ровно твоя мельница.

– И как ловко орудует, – сказала всадница, глядя на Габриэля через свою плотную шерстяную вуаль. – Я бы хотела, чтобы он остался у нас пастухом. Кто-нибудь из вас знает, как его зовут?

– Кто ж его знает, никто его здесь никогда не видел.

Укрощенный огонь начал затихать, и Габриэль, убедившись, что ему больше нет надобности восседать на своем высоком посту, собрался слезать.

– Мэриен, – сказала молодая всадница, – ступай туда, он сейчас слезет, и скажи, что фермер хочет поблагодарить его за то, что он нас выручил.

Мэриен подошла к скирде как раз в тот момент, когда Оук сошел с лестницы. Она передала ему, что ей было поручено.

– А где ваш хозяин, фермер? – осведомился Габриэль, оживившись при мысли, что для него может найтись работа.

– Не хозяин, а хозяйка, пастух.

– Женщина – фермер!

– Да и еще какой богатый фермер! – подхватил кто-то из стоящих рядом. – Недавно в наши края приехала откуда-то издалека. Дядюшка у ней внезапно скончался, вот ей его ферма и досталась. Старик деньги полпинтами мерил, так кружками и считал, а она теперь, говорят, со всеми кэстербриджскими банками дела ведет. Ей в кинь-монету можно не, как нам, грошами, а золотыми играть.

– Вон она там, на лошади, лицо черным покрывалом с дырочками закрыто, – сказала Мэриен.

Оук, весь грязный, черный, сплошь облепленный копотью, в прожженной, дырявой, промокшей насквозь блузе, с обугленным и укоротившимся, по крайней мере, дюймов на пять, на шесть пастушьим посохом, смиренно – тяжкие превратности судьбы сделали его смиренным – приблизился к маленькой женской фигурке, сидевшей на лошади. Он почтительно, но вместе с тем молодецкато приподнял шляпу и, остановившись у самых ее ног, спросил нерешительным голосом:

– Не требуется ли вам пастух, мэм?

Она подняла шерстяную вуаль, закрывавшую ее лицо, и уставилась на него круглыми от изумления глазами.

Габриэль и его жестокая милая, Батшеба Эвердин, очутились лицом к лицу.

Батшеба молчала, а он повторил машинально упавшим, растерянным голосом:

– Не требуется ли вам пастух, мэм?

Глава VII

Так они встретились. Боязливая девушка

Батшеба отъехала в тень. Она и сама не знала – смешно ей, что они вот так встретились, или скорее неприятно, – уж очень все это неловко получилось. В ней шевелилось как будто и чувство жалости, а вместе с тем что-то похожее на чувство торжества: вот он в каком положении, а я... Она не испытывала никакого замешательства, а то, что Габриэль признался ей в любви в Норкомбе, она вспомнила только сейчас, когда, увидев его, подумала, что вот ведь она совершенно забыла об этом.

– Да, – тихо промолвила она, повернув к нему с важным видом слегка зарумянившееся лицо. – Мне нужен пастух. Но...

– Вот он как раз то, что надо, мэм, – веско заявил один из сельчан.

Убежденность действует убедительно.

– Да, да, верно, – решительно поддержал второй.

– Самый подходящий человек, – с воодушевлением подтвердил третий.

– Лучше не найти, – с жаром подхватил четвертый.

– В таком случае скажите ему, чтобы он поговорил с управителем, – распорядилась Батшеба.

И все стало на свое место и свелось к делу. Чтобы придать этой встрече подобающую ей романтическую окраску, требовались более подходящие условия – летний вечер, уединенность.

Габриэлю помогли разыскать управителя, и они отошли с ним в сторонку потолковать, и все время, пока у них шел этот предварительный разговор, Габриэль старался унять трепыхание в груди, вызванное неожиданным открытием, что эта неведомая ночная богиня Астарта, о которой он слышал такие странные речи, оказывается, не кто иной, как хорошо знакомая ему, обожаемая Венера.

Огонь унялся.

– После такой неурочной работы я предлагаю вам всем немножко подкрепиться, – сказала Батшеба. – Заходите в дом.

– Оно, конечно, мисс, неплохо бы перекусить да выпить, – отозвался один за всех, – да только нам куда вольготнее было бы посидеть в солодовне Уоррена, ежели бы вы нам туда чего-нибудь прислали.

Батшеба повернула лошадь и скрылась в темноте. Крестьяне гурьбой двинулись в поселок, и у скирды остались только Оук с управителем.

– Ну вот, как будто и все, стало быть, мы уговорились, – сказал наконец управитель. – Я пошел домой. Доброй ночи, пастух.

– А вы не могли бы меня на жилье устроить? – попросил Габриэль.

– Вот уж чего не могу, того не могу, – отвечал управитель, стараясь поскорей увильнуть от Оука, точь-в-точь как благочестивый прихожанин от блюда с доброхотными даяниями, когда он не собирается ничего давать. – Ступайте прямо по дороге, уткнетесь в солодовню Уоррена, они туда все сейчас угощаться пошли; там, верно, вам что-нибудь укажут. Доброй ночи, пастух.

Управитель, который, по-видимому, сильно страшился возлюбить ближнего, как самого себя, зашагал вверх по склону холма, а Оук направился в селение. Он все еще никак не мог опомниться от этой встречи с Батшебой. Он радовался, что будет жить поблизости от нее, и в то же время был совершенно ошеломлен тем, как быстро такая молоденькая, неопытная норкомбская девушка превратилась в невозмутимую властную женщину. Впрочем, некоторым женщинам только недостает случая, чтобы показать себя во весь рост.

Тут Габриэлю пришлось оторваться от своих мыслей, чтобы не сбиться с дороги, – перед ним было кладбище, и он пошел по тропинке вдоль ограды, где росли громадные старые деревья. Тропинка поросла густой травой, которая даже и сейчас, в заморозки, заглушала его шаги. Поравнявшись с дуплистым деревом, которое даже среди всех этих старых великанов казалось патриархом, Габриэль увидел, что за ним кто-то стоит. Он продолжал идти, не останавливаясь, но случайно наподдал ногой камень, и тот откатился со стуком. Фигура, стоявшая неподвижно, вздрогнула и попыталась принять небрежно-беспечный вид.

Это была очень тоненькая девушка, в легкой не по сезону одежде.

– Добрый вечер, – приветливо сказал Габриэль.

– Добрый вечер, – ответила девушка.

Голос оказался необычайно пленительным, низкого, бархатного тона. Такие голоса любят описывать в романах, но в жизни их редко услышишь.

– Будьте так добры, скажите, пожалуйста, попаду ли я этой дорогой в солодовню Уоррена? – спросил Габриэль, которому действительно нужно было узнать, туда ли он идет, но кстати хотелось еще раз услышать этот мелодичный голос.

– Вы правильно идете. Вон она там, внизу под горой. А вы не знаете... – Девушка на секунду замялась. – Вы не знаете, до какого часа открыта харчевня «Оленья голова»?

По-видимому, приветливость Габриэля подкупила ее, так же как его подкупил ее голос.

– Я не знаю, где эта «Оленья голова», никогда про нее не слышал. А вы хотите попасть туда сегодня же?

– Да. – Девушка опять замялась.

В сущности, продолжать разговор не было необходимости, но из какого-то смутного желания скрыть свое смятение, спрятаться за ничего не значащей

фразой ей явно хотелось еще что-то добавить – так поступают простодушные люди, когда им приходится действовать тайком.

– Вы сами не из Уэзербери? – робко спросила она.

– Нет. Я новый пастух, только что прибыл.

– Пастух? Вот не сказала бы, вас можно за фермера принять.

– Нет, всего-навсего пастух, – с мрачной решительностью отрезал Габриэль, и мысли его невольно устремились к прошлому. Он опустил глаза, и взгляд его упал на ноги стоявшей перед ним девушки, и тут только он увидел узелок, лежавший на земле. Она, вероятно, заметила, что взгляд его задержался на нем, и пролепетала робким, просительным тоном:

– Вы никому из здешних не скажете, что видели меня тут, не скажете, правда, ну хотя бы день или два?

– Конечно, не скажу, если вы не хотите.

– Спасибо вам большое, – сказала она. – Я бедная девушка, и я не хочу, чтобы обо мне люди судачили. – Она замолчала и поежилась.

– В такой холодный вечер вам следовало бы одеться потеплей. Я вам советую, идите-ка вы домой.

– О нет, нет. Пожалуйста, я вас прошу, идите своей дорогой и оставьте меня здесь одну. Большое вам спасибо за то, что вы так сказали.

– Хорошо, я пойду, – сказал он и прибавил нерешительно: – Раз вы сейчас в таком трудном положении, может, вы не откажетесь принять от меня вот этот пустяк? Тут всего-навсего шиллинг, все, что я могу уделить.

– Да, не откажусь, – с глубокой признательностью ответила незнакомка.

И протянула руку. Габриэль протянул свою. И в тот момент, когда она, коснувшись его руки, повернула свою ладонь вверх, Габриэль, взяв ее руку

в темноте, чтобы положить монету, нечаянно нащупал ее пульс. Он бился с трагической напряженностью. Ему нередко случалось нащупывать такой учащенный, жесткий, прерывистый пульс у своих овец, когда пес загонял их до изнеможения. Это говорило о чрезмерном расходе жизненной энергии и сил, а их, судя по хрупкому сложению девушки, было у нее и так слишком мало.

– Что с вами такое?

– Ничего.

– Что-то, должно быть, есть?

– Нет, нет, нет. Пожалуйста, не проговоритесь, что видели меня.

– Хорошо, буду молчать. Доброй вам ночи.

– Доброй ночи.

Девушка осталась стоять, не двигаясь, прислонясь к дереву, а Габриэль пошел вниз по тропинке к селению Уэзербери, или Нижней Запруде, как его здесь называли. У него было такое чувство, как будто он соприкоснулся вплотную с каким-то безысходным горем, когда рука этого маленького, хрупкого существа легла в его руку. Но на то и разум, чтобы не поддаваться минутным впечатлениям, и Габриэль постарался забыть об этой встрече.

Глава VIII

Солодовня. Погупорили. Новости

Солодовня Уоррена была со всех сторон обнесена старой стеной, густо поросшей плющом, и хотя в этот поздний час от самого дома мало что было видно, его темные резкие очертания, отчетливо выступавшие на вечернем небе, достаточно красноречиво изобличали его назначение и свойства. Покатая соломенная крыша, свисавшая бахромой над стенами, сходилась в середине

углом, увенчанным небольшим деревянным куполом наподобие фонаря и обнесенным со всех четырех сторон решетчатыми навесами, из-под которых, медленно расплываясь в ночном воздухе, струился пар. Окон в доме спереди не было, и только через маленький, заделанный толстым стеклом квадратик над входной дверью пробивались полосы красноватого света, которые тянулись через двор и ложились на увитую плющом стену. Изнутри доносились голоса.

Оук долго шарил рукой по двери, как ослепший Елима-волхв. Наконец он нащупал кожаный ремешок и потянул за него; деревянная щеколда откинулась, и дверь распахнулась.

Внутри помещение было освещено только красным жаром сушильной печи, свет которой струился низко над полом, словно свет заходящего солнца, и отбрасывал вверх колеблющиеся искаженные тени сидящих людей. Каменные плиты пола стерлись от времени, от входной двери к печи протопталась дорожка, а кругом образовались углубления и впадины. У одной стены стояла длинная скамья из неструганого дуба, закруглявшаяся с обеих сторон, а в глубине, в углу, узкая кровать, накрытая одеялом, где спал, а частенько полеживал и днем хозяин-солодовник.

Старик хозяин сидел сейчас прямо против огня; белые как снег волосы и длинная белая борода, закрывавшая его согбенное туловище, казалось, разрослись на нем, как мох или лишайник на старой безлиственной яблоне. На нем были штаны, подвернутые до колен, и башмаки на шнурках; он сидел, уставившись в огонь.

Воздух, пропитанный сладким запахом свежего солода, ударил Габриэлю в нос. Разговор (говорили, по-видимому, о возможной причине пожара) сразу прекратился, и все до одного уставились на него оценивающим, критическим взором, при этом так сильно наморщив лоб и сощурившись, как если бы от него исходил ослепительный свет, слишком яркий для глаз.

После того как процесс обозревания завершился, несколько голосов глубокомысленно протянуло:

– А ведь это, надо быть, новый пастух, не иначе, он самый.

– А мы слышим – то ли щеколду шарят, то ли лист сухой занесло, шуршит, – сказал кто-то. – Входи, пастух, добро пожаловать, мы все тебе рады, хоть и не знаем, как тебя звать.

– Меня, добрые люди, зовут Габриэль Оук.

Услышав это, старик солодовник, сидевший возле сушильни, медленно повернулся – так поворачивается старый заржавленный кран.

– Не внук ли Гэба Оука из Норкомба? Нет, быть не может!

Это восклицание не следовало понимать буквально, всем было ясно, что оно выражало крайнюю степень изумления.

– Мой отец и дед оба носили имя Габриэль, – невозмутимо ответил пастух.

– То-то мне там на скирде показалось, будто лицо знакомое. А как ты сюда-то попал, где ты живешь, пастух?

– Да вот думаю здесь обосноваться, – отвечал Оук.

– Ведь я твоего деда с да-авних лет знал, – продолжал солодовник, и казалось, слова у него теперь вылетали сами собой, словно от толчка, сила которого еще продолжала действовать.

– Вот как!

– И бабуку твою знал.

– И ее тоже?

– И отца твоего, когда он еще мальчонкой был. Да вон мой сынок Джекоб, они с твоим отцом неразлучные дружки были, равно как кровные братья, а, Джекоб?

– Верно, – отозвался сынок, молодой человек лет этак шестидесяти пяти, с наполовину голым черепом и единственным зубом, который торчал слева в верхней челюсти ближе к середине и так заносчиво выдавался вперед, что его можно было заметить издали, как верстовой столб на дороге. – Только это они с Джо больше водились. А вот мой сын Уильям, должно быть, знал и вас самого. Верно я говорю, Билли, ну когда еще ты был в Норкомбе?

– Не я, а Эндрью, – отвечал сын Джекоба Билли, малютка лет сорока, с густой растительностью на лице, уже кое-где подернутой сединой, которому природа отпустила веселый дух, но заключила его в унылую оболочку.

– Мне помнится, жил у нас в деревне человек по имени Эндрью, я тогда еще совсем мальчишкой был, – сказал Габриэль.

– Ну да вот и сам я ездил туда недавно с младшенькой моей дочкой Лидди, на крестины внука, – продолжал Билли, – там-то мы вашу семью и вспоминали, как раз это на самое Сретенье было, в тот день, когда самым захудалым беднякам из приходских сборов лепту раздают; потому я тот день и запомнил, что все они в ризнице толклись, вот тут и об ихней семье разговор зашел.

– Иди-ка сюда, пастух, выпей с нами, глотни раз-другой, промочи глотку, хоть напиток и не бог весть какой, – сказал солодовник, отводя от углей красные, как киноварь, глаза, слезящиеся и воспаленные оттого, что они на протяжении стольких лет глядели в огонь. – Подай-ка «прости-господи», Джекоб. Да погляди, горяча ли брага.

Джекоб наклонился к «прости-господи» – большому глиняному сосуду, стоявшему в золе. Это была кружка, напоминавшая бочонок, с ручками с обеих сторон, обгоревшая и потрескавшаяся от жара и вся обросшая снаружи какой-то инородной коркой, особенно в углублениях ручек, витки которых, закруглявшиеся внутрь, должно быть, уже много лет не выглядывали на свет божий из-под толстого слоя золы, слипшейся от пролитой браги и припекшейся. Но для всякого разумного ценителя браги кружка от этого ничуть не теряла своих достоинств, ибо по краям и внутри она была совершенно чистая. Причины, по которым сей сосуд в Уэзербери и его округе получил название «прости-господи», не совсем выяснены. Очень может быть, что его размеры заставляют самого завязатого бражника невольно устыдиться, когда он одним духом опоражнивает его до дна.

Джекоб, которому приказано было проверить, достаточно ли согрелась брага, невозмутимо опустил в кружку указательный палец в качестве термометра и, объявив, что температура, надо быть, в самый раз, поднял сосуд и из вежливости попытался смахнуть с него золу полой своей блузы – ибо Габриэль Оук был не свой, а чужой, пришлый человек.

– Достань чистую кружку пастуху, – приказал солодовник.

– Да нет, что вы, зачем же, – сказал Габриэль укоряющим и вместе с тем предупредительным тоном. – Я чистого сору не гнушаюсь, коли знаю, что это за сор. – Он взял кружку обеими руками и, отхлебнув из нее, так что уровень в ней опустился примерно на дюйм с лишним, передал ее, как полагалось, сидящему рядом. – Да чтобы я позволил себе утруждать добрых людей мытьем посуды, когда у них и без того дела хватает, – продолжал он, несколько задохшись оттого, что у него перехватило дух, как это всегда бывает, когда хлебнешь из такого внушительного сосуда.

– Вот это правильный человек, сразу видно, – сказал Джекоб.

– Верно, верно, ничего другого не скажешь, – подхватил бойкий молодой человек по имени Марк Кларк, веселый, обходительный парень, с которым всякому, кому ни привелось встретиться, значило тут же и познакомиться, а коли уж познакомиться, значит, выпить, а выпить – значит, увы, заплатить за него.

– А вот на-ка, бери пожевать хлеба с салом, это нам, пастух, хозяйка прислала. Брага-то, она лучше идет, ежели ее закусить чем. Да только ты смотри не больно разжевывай, потому как я это сало, когда нес, дорогой обронил, и оно малость в песке вывалялось. Ну, да это чистая грязь, как ты, пастух, верно сказал, мы знаем, что это за грязь, а ты, похоже, человек непривередливый.

– Вот уж нисколько, правда, – дружелюбно подтвердил Оук.

– Ты только не сжимай зубы-то вплотную, оно и не будет хрустеть. Диво дивное, как человек ко всему приспособиться может.

– И я, милый человек, такого же мнения держусь, – отозвался Оук.

– Сразу видать, внук своего деда, – сказал солодовник. – Он тоже непривередливый, понимающий был человек.

– Пей, Генри Фрей, пей, – великодушно поощрял Джан Когген, человек, придерживавшийся в отношении напитков принципов Сен-Симона: делить на всех и делить поровну; он видел, что сосуд, медленно двигавшийся по кругу, уже приближается к нему.

Генри, который до сих пор задумчиво глядел прямо перед собой, не заставил себя просить. Это был человек более чем пожилого возраста, с вскинутыми высоко на лоб бровями, любивший разглагольствовать о том, что в мире все идет не по закону; доказывая это своим слушателям, он вперял многострадальный взор мимо них в этот самый мир и давал волю своему воображению. Он всегда подписывался «Генери» и с жаром настаивал, что так оно и должно писать, а если случайно зашедший школьный учитель говорил, что второе «е» лишнее и давно уже вышло из употребления, что так только в старину писали, то получал в ответ, что Ге-не-ри – это имя, коим его нарекли при крещении, и что он не намерен от него отрекаться, а тон, которым это говорилось, ясно давал понять, что орфографические расхождения – это такое дело, которое каждый волен решать по-своему.

Мистер Джан Когген, передавший Генери сосуд с брагой, толстощекий, румяный человек с плутовато подмигивающими глазками, вот уже двадцать лет был неизменным участником бесчисленных брачных церемоний, совершавшихся в Уэзербери и прочих близлежащих приходах, и его имя как шафера и главного свидетеля в графе брачных записей красовалось во всех церковных книгах; он очень часто подвизался также в роли почетного крестного, в особенности на таких крестинах, где можно было смачно пошутить.

– Пей, Марк Кларк, пей, в бочке хватит браги, – говорил Джан.

– Я выпить никогда не откажусь, вино – наш целитель, только им и лечимся, – отвечал Марк Кларк; они с Джаном Коггеном были одного поля ягоды, хотя он на двадцать лет был моложе Джана; Марк никогда не упускал случая выудить из собеседника что-нибудь такое, над чем можно было посмеяться, чтобы потом поднести это в компании.

– А вы что же, Джозеф Пурграс, – даже и не пригубили еще, – обратился мистер Когген к скромному человеку, застенчиво мнущемуся сзади, и протянул ему кружку.

– Ну и стеснительный же ты человек! – сказал Джекоб Смолбери. – А правда про тебя говорят, будто ты все никак глаз не решишься поднять на нашу молодую хозяйку, а, Джозеф?

Все уставились на Джозефа Пурграса сочувственно-укоризненным взглядом.

– Н-нет, я на нее еще ни разу взглянуть не посмел, – промямлил Джозеф, смущенно улыбаясь, и при этом весь как-то съежился, словно устыдившись того, что он обращает на себя внимание. – А вот как-то я ей на глаза попался, так меня всего в краску вогнало: стою, глаз не подыму и краснею.

– Бедняга! – сказал мистер Кларк.

– Чудно все же природа наделяет, ведь мужчина, – заметил Джан Когген.

– Да, – продолжал Джозеф Пурграс, испытывая приятное удовлетворение от того, что его недостаток – застенчивость, от которой он так страдал, оказался чем-то достойным обсуждения, – краснею и краснею, что ни дальше, то больше, и так все время, пока она говорила со мной, я только и делал, что краснел.

– Верю, верю, Джозеф Пурграс; мы все знаем, какой вы стеснительный.

– Совсем это негоже для мужчины, несчастный ты человек, – сказал солодовник. – И ведь это у тебя уже давно.

– Да, с тех пор, как я себя помню. И матушка моя уж так-то за меня огорчалась, чего только не делала. И все без толку.

– А ты сам-то, Джозеф Пурграс, пробовал ну хоть почаще на людях бывать, чтобы как-нибудь от этого избавиться?

– Все пробовал и с разными людьми компанию водил. Как-то раз, помню, меня на ярмарку в Гринхилл затащили, и попал я в этакий расписной балаган,

там тебе и цирк, и карусель, и целая орава мамзелей в одних юбчонках стоймя на конях скачет; ну и все равно я этим не вылечился. А потом пристроили меня посыльным в женском кегельбане в Кэстербридже, как раз позади трактира «Портной». Вот уж, можно сказать, нечестивое было место. Диво дивное, чего я там только не нагляделся, – с утра до ночи, бывало, толчешься среди этого похабства, а все без пользы; ничего у меня от этого не прошло – как было, так и осталось. Это у нас в семье издавна такая напасть, от отца к сыну, так из рода в род и передается. Что ж поделаешь, и на том надо бога благодарить, что на мне дальше не пошло, а не то могло бы быть и еще хуже.

– И то правда, – согласился Джекоб Смолбери, задумываясь всерьез и над этой стороной вопроса. – Тут есть над чем призадуматься, конечно, на тебе это могло бы сказаться еще и похуже. Но и так тоже, Джозеф, что ни говори, большая это для тебя помеха. Ну вот вы скажите, пастух, почему это оно так, – что для женщины хорошо, то для него, для бедняги, ну как для всякого мужчины, никуда не годится, черт знает что получается?

– Да, да, – сказал Габриэль, отрываясь от своих размышлений. – Разумеется, для мужчины это большая помеха.

– Ну, а он к тому же и трусоват малость, – заметил Джан Когген. – С ним однажды такой случай был: заработался он допоздна в Иелбери, и пришлось ему ворочаться в потемках; ну уж как это оно там вышло, может, и хватил лишнее в дорогу, только, стало быть, шел он Иелберийским долом, да и заплутался в лесу. Было такое дело, мистер Пурграс?

– Нет, нет, ну стоит ли про это рассказывать! – жалобно взмолился стеснительный человек, пытаясь скрыть свое смущение насильственным смешком.

– Заплутался и никак на дорогу не выйдет, – невозмутимо продолжал мистер Когген, всем своим видом давая понять, что правдивое повествование, подобно времени, идет своим чередом и никого не щадит. – Зашел куда-то в самую чащу, а уже совсем ночь, ни зги не видно, ну он со страху и завопил: «Помогите! Заблудился! Заблудился!» – а тут сова как заушает, слышал, пастух, как сова кличет – «охо, хо!» (Габриэль кивнул). Ну а Джозеф тут уж совсем оробел, ему с перепугу чудится: «Кто? кто?» Он и говорит: «Джозеф Пурграс из Уэзербери, сэр!»

– Ну, нет, это уж ни на что не похоже... неправда! – вскричал робкий Джозеф, вдруг сразу превращаясь в отчаянного смельчака. – Не говорил я «Джозеф из Уэзербери, сэр», клянусь, не говорил! Нет, нет, коли уж рассказывать, так рассказывать по-честному; не говорил я этой птице «сэр», потому как прекрасно понимал, что никто из господ, ни один порядочный человек не станет ночью по лесу шататься. Я только сказал «Джозеф Пурграс из Уэзербери», вот, слово в слово, и кабы это не под праздник было и не угости меня лесник Дэй хмельной настойкой, конечно, я бы так не сказал... Ну счастье мое, что я только страхом отделался.

Вопрос о том, кто из них ближе к правде, компания обошла молчанием, и Джан глубокомысленно продолжал:

– А уж насчет страха ты, Джозеф, и всегда-то был пуглив. Помнишь, как ты тогда на загоне в воротах застрял?

– Помню, – отвечал Джозеф с таким видом, что бывает, мол, и со скромным человеком такое, что лучше не вспоминать.

– Да, и это тоже как будто ночью случилось. Ворота на загоне никак у него не открывались. Он толкает, а они ни взад, ни вперед, ну он со страху и решил, что это дьявольские козни, и бух на колени.

– Да, – подхватил Джозеф, расхрабрившись от тепла, от браги и от желания самому рассказать этот удивительный случай. – Как же! Я прямо так и обмер весь, упал на колени и стал читать «Отче наш», а потом тут же «Верую» и все десять заповедей подряд. А ворота все так и не открываются. Я вспомнил «Дорогие возлюбленные братья», начал читать, а сам думаю: это четвертое, последнее, – все, что я знаю из Святого Писания, а если уж и это не поможет, ну тогда мне конец. И вот, значит, дошел я до слов «повторяют за мной», поднялся с колен, толкаю ворота, а они тут же открылись разом, сами собой, как всегда. Вот, люди добрые, как оно было.

Все сидели молча, задумавшись над тем, что само собой надлежало заключить из этого рассказа, и глаза всех были устремлены в зольник, раскаленный, как пустыня под полуденным тропическим солнцем. И глаза у всех были сосредоточенно прищурены то ли от пылающего жара, то ли от непостижимости того, что заключалось в услышанном ими рассказе.

Габриэль первым прервал молчание:

– А живется-то вам здесь ничего? Ладите вы с вашей хозяйкой, как она с работниками?

Сердце Габриэля сладко заныло в груди, когда он так, словно невзначай, завел разговор о самом заветном и дорогом для него предмете.

– А мы, правду сказать, мало что про нее знаем, ровно как бы и ничего. Она всего несколько дней, как к нам показалась. Дядюшка ее занемог сильно, вызвали к нему самого что ни на есть знаменитого доктора, но и он уж ничего сделать не мог. А теперь она, слышно, сама хочет фермой заправлять.

– Так оно, похоже, и будет, – подтвердил Джан Когген. – Семья-то хорошая! Мне так думается, у них лучше, чем у кого другого, работать. Дядюшка у нее уж такой справедливый был человек. А жил один, неженатый, вы, может, о нем слышали, пастух?

– Нет, не слышал.

– Я когда-то частенько в его доме бывал: первая моя жена Чарлотт у него на сыроварне работала, а я к ней тогда сватался. Душевный был человек фермер Эвердин. Ну, конечно, он про меня знал, какой я семьи и что за мной ничего худого не водится, и мне разрешалось приходить к ней в гости и угощаться пивом сколько душе угодно, только не уносить с собой, ну, сами понимаете, сверх того, что в меня влезет.

– Понимаем, понимаем, Джан Когген! Как не понимать!

– А уж пиво было – ввек не забуду. Ну, конечно, я старался уважить хозяина, отплатить ему за его доброту и со всем усердием оказывал честь его пиву, не то что какой-нибудь невежа, который за радушие непочтением платит – пригубит да отставит.

– Верно, мистер Когген, так не годится поступать, – поддакнул Марк Кларк.

– А потому, перед тем как туда идти, я, бывало, наемся рыбы соленой так, что у меня все нутро жжет, вся глотка пересохнет, а в сухую глотку пиво само так и льется. Ух! Душа радуется! Вот были времена! Райская жизнь! Да, сладко я пивал в этом доме! Помнишь, Джекоб? Ты ведь туда со мной хаживал?

– Как же, помню, помню. А еще мы с тобой, помнишь, в Духов день в «Оленьей голове» пили. Ох, и здорово же мы тогда насосались!

– Было дело. Но ведь питье питью рознь, а вот ежели по-благородному пить, без греха, так чтобы нечистый тебе с каждым словом на язык не подвертывался, нигде мне так хорошо не пилось, как на кухне у фермера Эвердина. Там не то что чертыхнуться, слова бранного обронить не смели, даже когда все уж до того допивались, что всяк не помнил, что городил; а ведь тут-то тебя бес за язык и тянет, в самый бы раз душу отвести!

– Верно, – подтвердил солодовник, – природа – она своего требует; выругаешься, и словно на душе легче, стало быть, надобность такая, без этого на свете не проживешь.

– Но Чарлотт ничего такого не допускала, – продолжал Когген, – упаси бог, чтобы при ней помянуть всуе... ах, бедная Чарлотт, кто знает, посчастливилось ли ей на том свете, попала ли ее душенька в рай! Не больно-то ей в жизни везло, и там, может, не тот жребий выпал, и мается она, горемычная, в преисподней.

– А кто из вас знал родителей мисс Эвердин, ее отца и мать? – осведомился пастух, которому приходилось делать некоторые усилия, чтобы удержать разговор вокруг интересующего его объекта.

– Я знал их мало-мало, – отозвался Джекоб Смолбери, – только они оба городские были, здесь не жили. Давно уже оба померли. Ты-то их помнишь, отец, что они были за люди?

– Да он-то так себе, неприметный был, не аhti какой, – сказал солодовник, – а она видная собой. Он так за ней и ходил, сам не свой, покуда не поженились.

– Да и женатый тоже, – вмешался Джан Когген, – сказывали, как начнет целовать, целует, целует без конца, оторваться не может.

– Да, и женатый он страх как гордился женой.

– Да, да, – подхватил Когген. – Рассказывают, будто он на нее просто наглядеться не мог и ночью-то раза три встанет, свечу зажжет и любитесь.

– Этакая беспредельная любовь! А мне думается, такой на свете не бывает! – пробормотал Джозеф Пурграс, который, высказывая свои суждения, предпочитал выражаться обобщенно.

– Нет, почему же, бывает, – сказал Габриэль.

– Да, так оно у них, похоже, и было, – продолжал солодовник. – Я-то хорошо знал их обоих. Он ничего мужик был, звали его Леви Эвердин. Мужик-то – это я зря сказал, просто обмолвился, он не из крестьян был, классом повыше, модный портной, и деньжищ у него хватало. И два, не то три раза он прогорал, так о нем все и говорили – известный банкрот, – далеко о нем слава шла.

– А я-то думал, он из простых был, – сказал Джозеф.

– Ни-ни, нет. Банкрот. Как же, кучу он денег задолжал серебром да золотом.

Тут солодовник задохнулся, и пока он переводил дух, мистер Когген, задумчиво следивший за свалившимся в золу угольком, покосился одним глазом на компанию, подмигнул и подхватил рассказ:

– Так вот, представьте себе, трудно даже и поверить, этот самый человек, родитель нашей мисс Эвердин, оказался потом очень непостоянным и еще как изменял своей жене. И сам на себя досадовал, не хотел огорчать жену, а ничего с собой поделаться не мог. Так-то уж ей бедняга был предан и любил ее всей душой, а вот поди же, не мог удержаться. Он как-то раз мне сам в этом признался, и уж так он себя горько корил. «Знаешь, Когген, говорит, лучше и красивей моей жены на свете нет, но вот то, что она моя законная супруга и на веки вечные ко мне прилеплена, от этого меня, грешного, на сторону и тянет, и никак я с собой совладать не могу». Но потом он как будто от этого вылечился, а знаете чем? Вот как вечером запрут они свою мастерскую и останутся вдвоем, он ей тут же велит кольцо обручальное снять, зовет ее прежним девичьим именем и сам себе представляет, будто она не жена ему,

а возлюбленная. И как, значит, он себе это внушил, что он с ней не в супружестве, а в прелюбодействе живет, с тех пор у них все опять по-прежнему пошло, друг на друга глядят, не надышатся.

– И надо же, такой нечестивый способ, – пробормотал Джозеф Пурграс. – Счастье великое, что милостивое провидение его от соблазна удержало! Могло бы быть хуже. Так и пошел бы по торной дорожке, глядь и вовсе в беззаконие впал, в полное бесстыдство!

– Тут дело такое, – вмешался Билли Смолбери. – Сам человек про себя понимал, что не след ему так поступать, а тянет его, и ничего он супротив этого поделать не может.

– А потом уж он совсем исправился, а под старость и вовсе в благочестие впал. Верно, Джан? Говорят, будто он еще раз, наново к вере приобщился, весь обряд над собой повторил, потом во время богослужения так громко выкрикивал «аминь», что его громче, чем причетника, слышно было. И еще пристрастился он душеспасительные стишки с надгробных плит списывать. И церковный сбор собирал, с блюдом ходил, когда «Свете тихий» пели, и всех ребят внебрачных у бедняков крестил; а дома у него на столе всегда церковная кружка стояла, как кто зайдет, он тут же с него и цапнет. А мальчишек приютских, ежели они в церкви расшались, бывало, так за уши оттаスカает, что они еле на ногах стоят; да и много он всяких милосердных дел делал, как подобает благочестивому христианину.

– Да уж он к тому времени ни о чем, кроме божеского, и не помышлял, – сказал Билли Смолбери. – Как-то раз пастор Сэрдли встретился с ним и говорит ему: «Доброе утро, мистер Эвердин, денек-то какой сегодня хороший выдался!» А он ему в ответ: «Аминь», – потому, как увидел пастора, уж ни о чем другом, кроме божественного, и думать не может. Истинным христианином стал.

– А дочка ихняя в ту пору совсем неказистая была, – заметил Генери Фрей. – Кто бы подумал, что она этакой красоткой станет?

– Вот коли бы и нрав у нее такой же приятный был.

– Да, хорошо бы, коли так. Только делами-то на ферме, оно видно, управитель будет ворочать, да и нами, грешными, тоже. Э-эх! – И Генери, уставившись

в золу, усмехнулся иронически и ехидно.

– Вот уж этот на христианина так же похож, как черт в клобуке на монаха, – многозначительно прибавил Марк Кларк.

– Да, он такой, – сказал Генери, давая понять, что тут, собственно, зубоскалить нечего. – Мне думается, этот человек без обмана не может: что в будни, что в воскресенье – совет без зазрения совести.

– Вот так так! Что вы говорите? – удивился Габриэль.

– А то и говорим, что есть! – отвечал саркастически настроенный Генери, оглядывая честную компанию с многозначительным смешком, из которого само собой явствовало, что уж в чем, в чем, а в житейских невзгодах никто так, как он, разобраться не может. – Всякие на свете люди бывают, есть похуже, есть получше, но уж этот – не приведи бог...

Габриэль подумал, не пора ли перевести разговор на что-нибудь другое.

– А вам, должно быть, очень много лет, друг солодовник, коли и сыновья у вас уже в летах? – обратился он к солодовнику.

– Папаша у нас такой престарелый, что уж и не помнит, сколько ему лет, правда, папаша? – сказал Джекоб. – А уж до чего согнулся за последнее время, – продолжал он, окидывая взглядом отцовскую фигуру, сгорбленную несколько больше, чем он сам. – Вот уж, как говорится, в три погибели согнулся.

– Согнутые-то, они дольше живут, – явно недовольный, мрачно огрызнулся солодовник.

– А что бы вам, папаша, пастуху про себя, про вашу жизнь рассказать, должно, ему любопытно послушать – правда, пастух?

– Еще как! – с такой поспешностью отозвался Габриэль, как будто он с давних пор только и мечтал об этом. – Нет, правда, сколько же вам может быть лет, друг солодовник?

Солодовник неторопливо откашлялся для пущей торжественности и, устремив взгляд в самую глубину зольника, заговорил с такой необыкновенной медлительностью, какая оправдывается только в тех случаях, когда слушатели, предвкушая услышать что-то исключительно важное, готовы простить рассказчику любые чудачества, лишь бы он рассказал все до конца.

– Вот уж не припомню, в каком я году родился, но ежели покопаться в памяти да вспомнить места, где я жил, может, оно к тому и придет. В Верхних Запрудах, вон там (он кивнул на север), я жил сызмальства до одиннадцати годов, потом семь лет в Кингсбери жил (он кивнул на восток), там я на солодовника и научился. Оттуда подался в Норкомб и там двадцать два года в солодовне работал и еще двадцать два года брюкву копал да хлеб убирал. Тебя, верно, и в помине не было, мастер Оук, а я уж этот Норкомб как свои пять знал. (Оук предупредительно улыбнулся, чтобы показать, что он охотно этому верит.) Потом четыре года солодовничал в Дерновере и четыре года брюкву копал; потом до четырнадцати раз по одиннадцати месяцев на мельничном пруду в Сен-Джуде работал (кивок на северо-северо-запад). Старик Туилс не хотел нанимать меня больше чем на одиннадцать месяцев, чтобы я, чего доброго, не свалился на попечение прихода, ежели я, не дай бог, калекой стану. Потом еще три года в Меллстоке работал и вот здесь, почитай, тридцать один год на Сретенье будет. Сколько же оно всего выходит?

– Сто семнадцать, – хихикнул другой такой же древний старичок, который до сих пор сидел незаметно в уголке и не подавал голоса, но, как видно, хорошо считал в уме.

– Ну вот, стало быть, столько мне и лет.

– Ну что вы, папаша! – сказал Джекоб. – Брюкву вы сажали да копали летом, а солод зимой варили в те же годы, а вы их по два раза считаете.

– Уймись ты! Что ж я, по-твоему, леты и вовсе не жил? Ну что ты молчишь? Ты, верно, скоро уж скажешь, какие там его годы, и говорить-то не стоит.

– Ну этого уж никто не скажет, – попытался успокоить его Габриэль.

– Вы, солодовник, самый долголетний старик, – таким же успокаивающим и вместе с тем непререкаемым тоном заявил Джан Когген. – Все это знают, и что

вам от природы этакое замечательное здоровье и могучесть даны, что вы столько лет на свете живете, правда, добрые люди?

Успокоившийся солодовник смягчился и даже не без некоторого великодушия снисходительно пошутил над своим долголетием, сказав, что кружка, из которой они пили, еще на три года постарше его.

И когда все потянулись разглядывать кружку, у Габриэля Оука, из кармана его блузы, высунулся кончик флейты, и Генери Фрей воскликнул:

– Так это, значит, вас я видел, пастух, в Кэстербридже, вы дули в этакую большую свирель?

– Меня, – слегка покраснев, подтвердил Габриэль. – Беда со мной большая стряслась, люди добрые, туго мне пришлось, вот нужда и заставила. Не всегда я таким бедняком был.

– Ничего, голубчик! – сказал Марк Кларк. – Не стоит расстраиваться, плюньте. Когда-нибудь и ваше время придет. А вот ежели бы вы нам поиграли, мы были бы вам премного обязаны. Только, может, вы очень устали?

– Уж я, поди, с самого Рождества ни тебе трубы, ни барабана не слышал, – посетовал Джан Когген. – А правда, сыграйте нам, мастер Оук.

– Отчего ж не сыграть, – сказал Габриэль, вытаскивая и свинчивая флейту. – Инструмент-то у меня не бог весть какой. Но я с удовольствием, уж как сумею, так и сыграю.

И Оук заиграл «Ярмарочного плута», и повторил три раза эту веселую мелодию, и под конец так воодушевился, что в задорных местах поводил плечами, раскачиваясь всем туловищем и отбивая такт ногой.

– Здорово это у него получается – мастер он на флейте свистеть, – заметил недавно женившийся молодой парень, личность настолько непримечательная, что его знали только как мужа Сьюзен Толл. – У меня бы нипочем так не получилось, у меня нет.

– Толковый человек, с головой, вот уж, можно сказать, нам повезло, что такой пастух у нас будет, – сказал, понизив голос, Джозеф Пурграс. – Надо бога благодарить, что он никаких срамных песен не играет, а все такие веселые да приятные; потому как для бога все едино, он мог бы его не таким, какой он есть, сотворить, а мерзким, распутным человеком, нечестивцем. Ведь вот оно что! Нам за своих жен и дочерей радоваться должно, бога благодарить.

– Да, да, вот именно, надо бога благодарить! – решительно умозаклучил Марк Кларк, нимало не смущаясь тем, что из всего сказанного Джозефом до него дошло от силы два-три слова.

– Да, – продолжал Джозеф, чувствуя себя чуть ли не пророком, – ибо времена пришли такие, что зло процветает и обмануться можно в любом человеке, будь он приличный с виду, в белой крахмальной рубашке, начисто выбрит или какой-нибудь бродяга в лохмотьях, промышляющий у заставы.

– А я теперь ваше лицо припоминаю, пастух, – промолвил Генери Фрей, приглядываясь затуманенным взором к Габриэлю, который начал играть что-то новое. – Только вы в свою флейту задули, я тут же и признал, – значит, вы и есть тот самый человек, который в Кэстербридже играл, вот и губы у вас так же были выпячены, и глаза, как у удушенника, вытаращены, точь-в-точь как сейчас.

– А ведь и впрямь обидно, что человек, когда на флейте играет, выглядит таким пугалом, – заметил мистер Марк Кларк, также окидывая критическим оком лицо Габриэля, который в это время, весь напружившись, со страшной гримасой, подергивая головой и плечами, наяривал хоровую песенку из «Тетушки Дэрдин».

Тут были Молли и Бэт, и Долли, и Кэт,

И замарашка Нэлл!

– Уж вы не обижайтесь на парня, что он, такой грубиян, про вашу наружность судит, – тихонько сказал Габриэлю Джозеф Пурграс.

– Да нет, что вы, – улыбнулся Оук.

– Потому как от природы, – умильно-подкупающим тоном продолжал Джозеф, – вы, пастух, очень красивый мужчина.

– Да, да, верно, – подхватила компания.

– Очень вам благодарен, – со скромной учтивостью благовоспитанного молодого человека сказал Оук и тут же решил про себя, что ни за что никогда не будет играть при Батшебе, проявляя в этом решении такую осмотрительность, какую могла бы проявить разве что сама породившая ее богиня мудрости Минерва.

– А вот когда мы с женой венчались в норкомбской церкви, – внезапно вступая в разговор, сказал старик солодовник, явно недовольный тем, что речь идет не о нем, – так о нас такая молва шла, что красивее нас парочки в округе нет, так все и говорили.

– И здорово же ты с тех пор изменился, дед солодовник, – раздался чей-то голос, проникнутый такой искренней убежденностью, с какой человек высказывается о чем-то само собой разумеющемся, очевидном. Голос принадлежал старику, сидевшему сзади, который то и дело старался ввернуть какое-нибудь ядовитое словцо и, присоединяясь иногда к общему смеху, пытался хихиканьем скрыть свое раздражение и зависть.

– Да нет, вовсе нет, – возразил Габриэль.

– Вы уж больше не играйте, пастух, – взмолился муж Сьюзен Толл, молодой, недавно женившийся парень, который до этого только один раз и открыл рот. – Мне надо идти, а когда музыка играет, меня точно проволока держит. А если я уйду да подумаю дорогой, что здесь музыка играет, а меня нет, я совсем расстроюсь.

– А чего ты так торопишься, Лейбен? – спросил Когген. – Ты, бывало, всегда чуть ли не последним уходил.

– Ну сами понимаете, братцы, я недавно женился, ну так оно вроде как моя обязанность... сами понимаете. – Малый от смущения замялся.

– Новый хозяин – новый порядок, как оно в пословице говорится, так, что ли? – подмигнул Когген.

– Ха-ха! Да так оно и выходит, – смеясь, подхватил муж Сьюзен Толл, всем своим видом давая понять, что он все такой же, как был, и нисколько на шутки не сердится.

За ним вскоре ушел и Генери Фрей. А затем Габриэль с Джаном Коггеном, который предложил ему у себя жилье. Но не прошло и нескольких минут, остальные тоже поднялись и уже собирались расходиться, – как вдруг в солодовню ворвался запыхавшийся Генери Фрей.

Зловеще помавая перстом, он вперил многоречивый взор куда-то в пространство и случайно наткнулся на физиономию Джозефа Пурграса.

– Ох, что случилось, что случилось, Генери? – отшатываясь, простонал Джозеф.

– Что там еще такое, Генери? – спросили в один голос Джекоб и Марк Кларк.

– Управитель-то, Пенниуэйс, что я говорил, говорил ведь...

– А что, на месте поймали, хапнул что?

– Ну да, хапнул. Говорят, мисс Эвердин после того, как вернулась домой, малость погодя опять вышла, как всегда, на ночь поглядеть, все ли в порядке, и видит: он по лестнице из амбара крадется с полным мешком ячменя. Она в него, как кошка, вцепилась, – она ведь такая, бедовая, – ну это, конечно, промеж нас?

– Ясное дело, промеж нас, Генери.

– Как она на него накинулась, он, значит, и сознался, что пять мешков из амбара вынес. Это после того, как она ему обещала, что в суд на него не подаст. Ну, она тут же его взашей и выгнала. А теперь спрашивается, кто же у нас управителем будет?

Это был такой важный вопрос, что Генери вынужден был приложиться к большой кружке, что он и сделал, да так основательно, что не отрывался до тех пор, пока у нее не обозначилось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, тоже едва переводя дух.

– Слышали вы, что у нас в приходе-то говорят?

– Это насчет управителя Пенниуэйса?

– Да нет, кроме того!

– Кроме? Нет, ничего не слышали, – ответили все хором и так впились глазами в Лейбена, словно стараясь выхватить слова у него изо рта.

– Ну и ночь выдалась, ужас-то какой! – бормотал Джозеф Пурграс, судорожно всплескивая руками. – Недаром у меня в левом ухе такой звон стоял, ну ровно как набат, и потом я еще сороку видел, сама по себе одна скакала.

– Фанни Робин нигде найти не могут, младшую служанку мисс Эвердин. Они там, в доме-то, уже часа два тому назад – запереться на ночь хотели, глядь, а ее нет. Ну они и не знают, что делать, как спать-то ложиться, как же она тогда в дом попадет. Так-то они, может, и не тревожились бы, да она последнее время сама не своя ходила, и Мэриен боится, как бы она, бедняжка, над собой чего не учинила.

– А что, как она сгорела! – вырвалось из запекшихся уст Джозефа Пурграса.

– Нет, верно, утопилась! – сказал Толл.

– А может, отцовской бритвой того... – живо представив себе все подробности, высказался Билл Смолбери.

– Так вот, мисс Эвердин и желает поговорить с кем-нибудь из нас, пока мы еще не разошлись. Тут эта история с управителем, а теперь еще и с этой девчонкой, хозяйка прямо сама не своя.

Все потянулись гурьбой вверх по тропинке к фермерскому дому, кроме старика солодовника, которого никакие события – ни грозы, ни гром, ни пожар – ничто не могло вытащить из его норы. Звуки шагов уже замерли вдали, а он все так же сидел на своем месте, уставившись, как всегда, в печь красными, воспаленными глазами.

Из окна спальни высоко над стоящими внизу высунулись голова и плечи Батшебы, окутанные чем-то белым и словно реющие в воздухе.

– Есть тут среди вас кто-нибудь из моих людей? – с беспокойством спросила она.

– Да, мэм, несколько человек своих, – отвечал муж Сьюзен Толл.

– Завтра утром пусть кто-нибудь из вас, два-три человека, пойдет по окрестным деревням и поспрашивает, не видел ли кто девушки, похожей на Фанни Робин. Сделайте это так, чтобы не заводить толков. Пока еще нет причин бить тревогу. По всей вероятности, она ушла из дома, когда все мы были на пожаре.

– Прошу прощения, мэм, – сказал Джекоб Смолбери, – а может, у нее дружок завелся, не ухаживал ли за ней кто-нибудь из молодых парней нашего прихода?

– Не знаю, – отвечала Батшеба.

– Да не слышать было ничего такого, – раздалось несколько голосов.

– Нет, не похоже, – помолчав, сказала Батшеба. – Будь у нее кавалер, он бы, наверно, показался здесь, в доме, если это порядочный парень. Но вот что мне кажется странным, – и это-то меня и беспокоит, – Мэриен видела, как она выходила из дому раздетая, в обычном своем будничном платье и даже без чепца.

– А вы думаете, мэм, уж вы простите мою простоту, – продолжал Джекоб, – что молодая женщина вряд ли пойдет на свиданье с милым, не приодевшись как следует? – И, видимо порывшись в своей памяти и вспомнив кое-что из своего личного опыта, добавил: – Оно, конечно, верно, не пойдет.

– А мне кажется, у нее был с собой какой-то узелок, только я не очень-то приглядывалась, – послышался голос из соседнего окна, по-видимому, голос Мэриен. – Но у нее в нашем приходе нет кавалера. Ее милый в Кэстербридже живет, мне помнится, он из солдат.

– А ты знаешь, как его зовут? – спросила Батшеба.

– Нет, не знаю; она от нас скрывалась.

– Может, если бы мне съездить в Кэстербридж, в казармы, я и мог бы что разузнать, – предложил Уильям Смолбери.

– Отлично, если она до завтра не вернется, поезжайте туда и постарайтесь отыскать этого человека и поговорить с ним. Я чувствую себя за нее в ответе, потому что у нее нет ни родных, ни друзей. Надеюсь, что она не попала в беду из-за какого-нибудь вертопраха... А тут еще эта грязная история с управителем... ну, об этом я сейчас не буду говорить... – У Батшебы было столько причин для беспокойства, что, по-видимому, ей не хотелось сейчас разбираться ни в одной из них. – Сделайте так, как я вам сказала, – распорядилась она, закрывая окно.

– Сделаем, сделаем. Будьте покойны, хозяйка, – отозвались они, уходя.

Этой ночью в доме Коггена Габриэль Оук, плотно сомкнув веки, предавался игре воображения, и оно так и бурлило, унося его, словно быстро бегущее течение реки под плотным покровом льда. Ночь всегда была для него теперь заветным временем, потому что ночью он особенно живо представлял себе Батшебу, и сейчас, в эти медленно текущие часы, в темноте, он с нежностью вглядывался в ее образ. Редко когда муки бессонницы искупаются радостями воображения, но, наверно, в эту ночь так оно было с Габриэлем, потому что счастье видеть ее стерло на первых порах в его сознании великую разницу между «видеть» и «обладать».

И он уже обдумывал, как он привезет сюда из Норкомба свое скромное имущество и книги «Лучший спутник молодого человека», «Верный путеводитель коновала», «Ветеринар», «Потерянный Рай», «Путь паломника», «Робинзон Крузо», «Словарь» Эша и «Арифметику» Уокингема – словом, всю свою библиотеку. И хоть это был ограниченный круг чтения, он читал так вдумчиво и внимательно, что извлекал из этих книг больше пользы, чем иные баловни судьбы из заставленных до потолка книжных полок.

Жилище новообретенной хозяйки Оука, Батшебы Эвердин, представляло собой при свете дня старое обомшелое здание в стиле раннего Ренессанса, а по его пропорциям можно было сразу сказать, что это был некогда жилой господский дом с прилегающим к нему небольшим поместьем, которое, как это часто бывает, давно перестало существовать как самостоятельное владение, растворившись в обширных земельных угодьях отсутствующего владельца, объединивших несколько таких скромных усадеб.

Массивные каменные пилястры с канелюрами украшали его фасад, трубы над щипцовыми крышами выступали круглыми или коническими башенками, а украшенные веночками арки, заканчивающиеся шпилями, и прочие архитектурные детали еще сохраняли следы своего готического происхождения. Мягкий коричневый мох, словно выцветший бархат, стелился по черепичным крышам, а из-под кровель низких строений, прилегавших к дому, торчали пучки очитка. Усыпанная песком дорожка, ведущая от крыльца к дороге, на которую выходил дом, тоже вся заросла мохом, только здесь он был другой разновидности – серебристо-зеленый, а полоска светло-коричневого песка, шага в полтора шириной, виднелась только посередине. И это, и какая-то сонная тишина, царившая здесь, тогда как другая сторона дома, в полную противоположность фасаду, кипела оживлением, невольно наводило на мысль, что жизненный центр дома, с тех пор как дом обратился в жилище фермера, переместился с одной стороны на другую, повернувшись вокруг своей оси. Коммерция и промышленность сплошь и рядом подвергают таким перемещениям, калечат и безжалостно парализуют не только отдельные здания, но и целые ансамбли – улицы и даже города, которые в своем первоначальном виде были задуманы строителем именно так, а не иначе, для того чтобы радовать взор.

Оживленные голоса раздавались в это утро в верхних комнатах, куда вела лестница из мореного дуба с перилами на массивных столбах, выточенных и отделанных в чопорной манере минувшего века; сами перила были добротные, прочные, словно перила моста, а ступени лестницы все время изворачивались винтом, словно человек, который силится заглянуть себе через плечо. Поднявшись наверх, вы сразу обнаруживали крайнюю неровность пола, он то вздыбливался горбом, то проваливался глубокой ложбиной, а сейчас, когда с него только что сняли ковры, на досках видны были бесчисленные узоры червоточины. Всякий раз, как открывалась или закрывалась какая-нибудь дверь,

все окна отзывались звоном стекол; от быстрой ходьбы или двиганья мебели весь дом начинало трясти, и каждый ваш шаг сопровождался скрипом, который следовал за вами повсюду, как призрак, преследующий по пятам.

В комнате, откуда раздавались голоса, Батшеба и ее служанка и товарка Лидди Смолбери сидели на полу и отбирали бумаги, книги и пузырьки из кучи всякого хлама, сваленного тут же, выпотрошенного из кладовых и чуланов покойного хозяина. Лидди, правнучка солодовника, была почти ровесницей Батшебы, а ее лицо как нельзя лучше подошло бы для какой-нибудь рекламы с изображением веселой английской деревенской девушки. Красота, которой, может быть, в смысле строгости линий не доставало ее чертам, щедро возмещалась богатством красок; сейчас, в этот зимний день, нежнейший румянец на мягкой округлости щек вызывал в памяти картины Терборха и Герарда Доу, и, как на портретах этих великих колористов, это лицо обладало своей привлекательностью, хотя оно отнюдь не отличалось идеальной красотой.

Лидди была очень переимчива по натуре, но далеко не такая бойкая, как Батшеба, иногда она даже обнаруживала некоторую степенность, может быть, в какой-то мере и свойственную ей, но более чем наполовину усвоенную для приличия, из чувства долга.

В полуоткрытую дверь слышно было, как скребут пол, и время от времени в поле зрения появлялась поденщица Мэриен Мони с круглой, как диск, физиономией, сморщенной не столько от возраста, сколько от усердного недоуменного разглядывания разных отдаленных предметов. Стоило только вспомнить о ней, и невольно хотелось улыбнуться, а когда вы пытались ее изобразить, вы представляли себе румяное печеное яблоко.

– Перестаньте-ка на минуту скрести, – сказала Батшеба через дверь. – Мне что-то слышалось.

Мэриен застыла со щеткой в руках.

Теперь уже совершенно ясно слышен был конский топот, приближающийся к дому со стороны фасада; топот замедлился, по стуку подков слышно было, как кто-то въехал в ворота и – это уже было совсем ни на что не похоже – прямо по замшелой дорожке подъехал к самому крыльцу. В дверь постучали кончиком хлыста или палкой.

– Какая наглость! – громким шепотом сказала Лидди. – Подъехать на лошади к самому крыльцу! Что, он не мог остановиться у ворот? Господи боже, да это какой-то джентльмен. Я вижу край его шляпы.

– Помолчи! – сказала Батшеба.

Лидди продолжала выражать явное беспокойство, но уже не устно, а всем своим видом.

– Почему миссис Когген не идет открыть? – продолжала Батшеба.

– Тра-та-та! – забарабанили настойчиво в дубовую входную дверь.

– Мэриен! Подите вы! – умоляюще сказала Батшеба, взволнованная предчувствием всяких романтических возможностей.

– О, мэм! Вы только посмотрите на меня!

Батшеба скользнула взглядом по Мэриен и ничего не ответила.

– Лидди, пойдй открой, – сказала она.

Лидди вскинула высоко вверх перепачканные выше локтей руки, все в пыли от хлама, который они разбирали, и умоляюще посмотрела на хозяйку.

– Ну вот, миссис Когген пошла! – промолвила Батшеба, и, так как она уже несколько секунд сидела, затаив дыхание, вздох облегчения вырвался из ее стесненной груди.

Дверь отворили, и чей-то низкий голос спросил:

– Мисс Эвердин дома?

– Сейчас узнаю, сэр, – ответила миссис Когген и через минуту появилась в комнате. – Ну надо же, как назло, всегда со мной так получается, – сказала, входя, миссис Когген, очень здоровая на вид особа, у которой тембр голоса

менялся в зависимости от характера речи и переживаемых ощущений. Миссис Когген умела месить оладьи и орудовать шваброй с чисто математической точностью – она вошла, потрясая руками, облепленными тестом и свалявшейся в клейстер мукой. – Только я начну взбивать пудинг и руки у меня по локти в муке, вот тут, мисс, обязательно что-нибудь да случится, или нос у меня зачесется, так что удержу нет, умри, а почесать должна, или кто-нибудь постучится. Мистер Болдвуд спрашивает, может ли он повидать мисс Эвердин.

Платье для женщины – это часть ее самое, и всякий беспорядок в одежде – это то же, что телесный изъян, рана или ушиб.

– Не могу же я принять его в таком виде, – сказала Батшеба. – Ну, что делать?

На фермах в Уэзербери еще не вошла в обычай вежливая форма отказа: хозяев нет дома, – поэтому Лидди предложила:

– Скажите, что вы вся перепачкались, глядеть страшно, и поэтому не можете к нему выйти.

– Да, так прямо и можно сказать, – окинув ее критическим взглядом, подтвердила миссис Когген.

– Скажите, что я не могу его принять, – и все.

Миссис Когген сошла вниз и передала ответ так, как ей было поручено, но, не удержавшись, добавила по собственному почину:

– Мисс протирает бутылки, сэр, вся выгваздалась, глядеть страшно, вот почему она и не может.

– Ну хорошо, – с полным равнодушием произнес низкий голос. – Я только хотел спросить, слышно ли что-нибудь о Фанни Робин?

– Ничего, сэр, но вот, может, нынче вечером услышим. Уильям Смолбери отправился в Кэстербридж, где, говорят, ее дружок проживает, другие тоже по всей округе спрашивают.

Вслед за этими словами послышался стук копыт, он тут же затих в отдалении, и дверь захлопнулась.

– Кто это такой – мистер Болдвуд? – спросила Батшеба.

– Джентльмен-арендатор в Малом Уэзербери.

– Женатый?

– Нет, мисс.

– Сколько ему лет?

– Лет сорок, наверно, красивый такой, только суровый с виду, а богатый.

– Надо же, эта уборка! Вечно у меня какие-то оказии, не одно, так другое! – жалобно сказала Батшеба. – А почему он справлялся о Фанни?

– Да потому, что она сиротой росла и никого у нее близких не было, он ее и в школу отдал, а потом к вашему дяде пристроил. Так-то он очень добрый человек, но только – не дай бог!

– А что такое?

– Для женщины – безнадежное дело! Уж как только его не обхаживали – все девушки из нашей округи, из благородных семей и простые! Джейн Паркинс два месяца за ним, как тень, по пятам ходила, и обе мисс Тэйлорс год целый по нем убивались, а дочка фермера Айвиса сколько слез по нему пролила, двадцать фунтов стерлингов ряди него на наряды ухлопала; и все зря, все равно как если бы она эти деньги просто в окно выбросила!

Тут снизу по лестнице взбежал какой-то карапуз и подошел к ним. Это был малыш кого-то из Коггенов, а эта фамилия, так же как и Смолбери, не менее распространена в здешней округе, чем Эвон и Дервент среди английских рек. Он всегда бежал к своим друзьям поделиться всем, что бы с ним ни случилось, показать, как у него шатается зуб или как он порезал палец, что в его глазах, разумеется, возвышало его над всеми другими мальчишками, с которыми ничего

не произошло; и, конечно, он ждал, что ему скажут «бедный мальчик!», да так, чтобы в этом слышалось и сочувствие и похвала.

– А у меня есть пенни, – протянул нараспев юный Когген.

– Вот как? А кто тебе его дал, Тедди? – спросила Лидди.

– Ми-и-стер Бо-олд-вуд! Он дал мне пенни за то, что я открыл ему ворота.

– А что он тебе сказал?

– Он сказал: «Куда ты спешишь, мальчуган?» – а я сказал – в дом мисс Эвердин, вот куда; а он сказал: «Она почтенная женщина, мисс Эвердин?» – а я сказал: да.

– Вот противный мальчишка! Зачем же ты так сказал?

– А он дал мне пенни!

– Как у нас все сегодня нескладно получается! – недовольным тоном сказала Батшеба, когда малыш убежал. – Ступайте, Мэриен, или кончайте мыть пол, или займитесь чем-нибудь. Вам в ваши годы следовало бы быть замужем, жить своим домом, а не торчать у меня здесь.

– Ваша правда, мисс. Но ведь вот дело-то какое – сватались ко мне все бедняки, а я нос воротила, а чуть побогаче на меня и глядеть не хотели, вот я и осталась одна-одинешенька, как перст.

– А вам делали когда-нибудь предложение, мисс? – набравшись смелости, спросила Лидди, когда они остались одни. – Уж, верно, от женихов отбою не было?

Батшеба молчала и, казалось, была не склонна отвечать, но соблазн похвастаться – и ведь она действительно имела на это право – был слишком силен для ее девичьего тщеславия, и она не удержалась, несмотря на то что была страшно раздосадована тем, что ее только что выставили старухой.

– Один человек когда-то очень добивался моей руки, – сказала она небрежным тоном многоопытной женщины, и в памяти ее возник прежний Габриэль Оук, когда он еще был фермером.

– Как это должно быть приятно! – воскликнула Лидди, ясно показывая всем своим видом, что она представляет себе, как это все было. – А вы ему отказали?

– Он был неподходящая для меня партия.

– Вот счастье-то, когда можно позволить себе отказать, ведь как оно в большинстве-то у девушек бывает – рады-радешеньки, кто бы ни подвернулся, спасибо скажут. Я даже представляю себе, как вы его отставили: «Нет, сэр, вы мне не ровня! Почище вашего меня добиваются, не вам чета!» Ведь вы в него не были влюблены, мисс?

– Не-ет! Но он мне немножко нравился.

– И сейчас нравится?

– Ну конечно, нет. Что это там, чьи-то шаги?

Лидди вскочила и подбежала к окну, выходившему на задний двор, над которым сейчас уже сгущалась серая мгла надвигающихся сумерек. Изогнутая петлей вереница двигавшихся друг за другом крестьян приближалась к черному ходу. Эта медленно ползущая цепь, состоящая из отдельных звеньев, двигалась в едином целеустремлении, подобно тем удивительным морским животным, известным под названием сальповой колонии, которые, отличаясь друг от друга строением, движутся, подчиняясь единому импульсу, общему для всей колонии. Одни были в своих обычных белых холщовых блузах, другие в белесовато-коричневых из ряднины, заштопанной на груди, на спине, на рукавах, на плечах. Несколько женщин в деревянных башмаках, наподобие калош, замыкали шествие.

– Орда на нас целая идет, – прижавшись носом к стеклу, сказала Лидди.

– Очень хорошо. Мэриен, ступайте вниз и задержите их в кухне, пока я пойду переодеться, а потом проводите их ко мне в зал.

Глава X

Хозяйка и батраки

Полчаса спустя тщательно одетая Батшеба вошла в сопровождении Лидди в парадную дверь старинного зала, где в дальнем конце все ее батраки уже сидели на длинной скамье и низкой без спинки лавке. Батшеба села за стол, открыла учетную книгу и, взяв в руку перо, положила возле себя брезентовую сумку с деньгами, вытряхнув из нее сначала небольшую кучку монет. Лидди устроилась тут же рядом и принялась шить; время от времени она отрывалась от шитья и поглядывала по сторонам или с видом своего человека в доме, пользующегося особыми правами, брала в руки монету из кучки, лежавшей на столе, и внимательно разглядывала ее, причем на лице ее в это время было ясно написано, что она смотрит на нее исключительно как на произведение искусства, а ни в коем случае не как на деньги, которые ей хотелось бы иметь.

– Прежде чем начать, – сказала Батшеба, – я хочу с вами поговорить о двух делах. Первое – это то, что управитель уволен за воровство и что я решила теперь обойтись без управителя, буду управлять фермой сама, своим умом и руками.

Со скамьи довольно внятно донеслось изумленное «ого!».

– Второе вот что: узнали вы что-нибудь о Фанни?

– Ничего, мэм.

– А сделано что-нибудь, чтобы узнать?

– Я встретил фермера Болдвуда, – сказал Джекоб Смолбери, – и мы вместе с двумя его людьми обшарили дно Ньюмилского пруда, но ничего не нашли.

– А новый пастух справлялся в «Оленьей голове» в Иелбери, думали, может, она там на постоялом дворе, но никто ее там не видел, – сказал Лейбен Толл.

– А Уильям Смолбери не ездил в Кэстербридж?

– Поехал, мэм, только он еще не вернулся. Часам к шести обещал быть назад.

– Сейчас без четверти шесть, – сказала Батшеба, взглянув на свои часики. – Значит, он вот-вот должен вернуться. Ну, а тем временем, – она заглянула в учетную книгу, – Джозеф Пурграс здесь?

– Да, сэр, то есть, мэм, я хотел сказать, – отозвался Джозеф. – Я самый и есть Пурграс.

– Кто вы такой?

– Да никто, по совести сказать, а как люди скажут – не знаю, ну, им виднее.

– Что вы делаете на ферме?

– Вожу всякие грузы, сэр, а во время посева гоняю грачей да воробьев, а еще помогаю свиней колоть.

– Сколько вам причитается?

– Девять шиллингов девять пенсов, сэр, простите, мэм, да еще полпенса взамен того негожего, что я в прошлый раз получил.

– Правильно, и вот вам еще десять шиллингов в придачу, подарок от новой хозяйки.

Батшеба слегка покраснела оттого, что ей было немножко неловко проявлять щедрость на людях, а Генери Фрей, тихонько подобранный поближе, выразил откровенное удивление, подняв брови и растопылив пальцы.

– Сколько вам причитается – вы, там в углу, как вас зовут? – продолжала Батшеба.

– Мэтью Мун, мэм, – отозвалась какая-то странная фигура в блузе, которая висела на ней, как на вешалке; фигура поднялась со скамьи и направилась к столу, ступая не как все люди носками вперед, а выворачивая их чуть ли не колесом то совсем внутрь, то наоборот, как придется.

– Мэтью Марк, вы сказали? Говорите же, я не собираюсь вас обижать, – ласково добавила юная фермерша.

– Мэтью Мун, мэм, – поправил Генери Фрей сзади, из-за самого ее стула.

– Мэтью Мун, – повторила про себя Батшеба, пробегая блестящими глазами список в книге. – Десять шиллингов два с половиной пенса, правильно тут подсчитано?

– Да, мисс, – чуть слышно пролепетал Мэтью, голос его был похож на шорох сухих листьев, тронутых ветром.

– Вот, и еще десять шиллингов. Следующий, Эндрю Рэнди, вы, кажется, только что поступили к нам. Почему вы ушли с вашего последнего места?

– Пр-пр-про-шш-шу, ммэм, пр-прр-прр-прош-шш...

– Он заика, мэм, – понизив голос, пояснил Генери Фрей, – его уволили, потому как он только тогда внятно говорит, когда ругается, вот он, значит, своего фермера в таком виде и отделал, сказал ему, что он, мол, сам себе хозяин. Он, мэм, ругаться может не хуже нас с вами, а говорить так, чтобы не спотыкаясь, – это у него никак не выходит.

– Эндрю Рэнди, вот то, что вам причитается, – ладно, благодарить кончите послезавтра.

– Миллер Смирная... о, да тут еще другая, Трезвая – обе женщины, надо полагать?

– Да, мэм, мы тут, – в один голос пронзительно выкрикнули обе.

– Что вы делаете на ферме?

– Мусор собираем, снопы вяжем, кур да петухов с огородов кыш-кышкаем, почву для ваших цветочков колом рыхлим.

– Гм... Понятно. Как они, ничего эти женщины? – тихо спросила она у Генери Фрея.

– Ох, не спрашивайте, мэм! Непутевые бабенки, потаскушки обе, каких свет не видал! – захлебывающимся шепотом сказал Генери.

– Сядьте.

– Это вы кому, мэм?

– Сядьте.

Джозеф Пурграс сзади на скамье даже передернулся весь, и во рту у него пересохло от страха, как бы чего не вышло, когда он услышал краткое приказание Батшебы и увидел, как Генери, съежившись, отошел и сел в углу.

– Теперь следующий. Лейбен Толл, вы остаетесь работать у меня?

– Мне все одно, у вас или у кого другого, мэм, лишь бы платили хорошо, – ответил молодожен.

– Верно, человеку жить надо! – раздалось с того конца зала, куда только что, громко постукивая деревянными подошвами, вошла какая-то женщина.

– Кто эта женщина? – спросила Батшеба.

– Я его законная супруга, – вызывающе отвечал тот же голос.

Обладательница этого голоса выдавала себя за двадцатипятилетнюю, выглядела на тридцать, знакомые утверждали, что ей тридцать пять, а на самом деле ей было все сорок. Эта женщина никогда не позволяла себе, как некоторые иные молодые жены, выказывать на людях супружескую нежность, быть может, потому, что у нее этого и в заводе не было.

– Ах, так, – сказала Батшеба. – Ну что же, Лейбен, остаетесь вы у меня или нет?

– Останется, мэм, – снова раздался пронзительный голос законной супруги Лейбена.

– Я думаю, он может и сам за себя говорить?

– Что вы, мэм! Сущая пешка! – отвечала супруга. – Так-то, может, и ничего, да только дурак дураком.

– Хе-хе-хе! – захихикал молодожен, весь перекорежившись от усилия показать, что он ничуть не обижен таким отзывом, потому что, подобно парламентскому кандидату во время избирательной кампании, он с неизменным благодушием переносил любую взбучку.

Так, один за другим, были вызваны все остальные.

– Ну, кажется, я покончила с вами, – сказала Батшеба, захлопывая книгу и откидывая со лба выбившуюся прядку волос. – Что, Уильям Смолбери вернулся?

– Нет, мэм.

– Новому пастуху нужно подпaska дать, – подал голос Генери Фрей, снова стараясь попасть в приближенные и подвигаясь бочком к стулу Батшебы.

– Да, конечно. А кого ему можно дать?

– Каин Болл очень хороший малый, – сказал Генери, – а пастух Оук не посетует, что ему еще лет мало, – добавил он, с извиняющейся улыбкой повернувшись к только вошедшему пастуху, который остановился у двери, сложив на груди руки.

– Нет, я против этого не возражаю, – сказал Габриэль.

– Как это ему такое имя дали, Каин? – спросила Батшеба.

– Видите ли, мэм, мать его бедная женщина была, неученая. Святое Писание плохо знала, вот, стало быть, и ошиблась, когда крестила, думала это Авель Каина убил, ну и назвала его Каином. Священник-то ее поправил, да уж поздно; из книги церковной никак нельзя ничего вычеркнуть. Конечно, это несчастье для мальчика.

– Действительно, несчастье.

– Ну да уж мы стараемся смягчить. Зовем его Кэйни. А мать его, бедная вдова, уж так горевала, все глаза себе выплакала. Отец с матерью у нее совсем нехристи были, ни в церковь, ни в школу ее не посылали, вот так оно и выходит, мэм, родителей грехи на детях сказываются.

Тут мистер Фрей придал своей физиономии то умеренно меланхолическое выражение, кое причисляет иметь соболезнующему, когда несчастье, о котором идет речь, не затрагивает кого-нибудь из его близких.

– Так, очень хорошо, пусть Кэйни Болл будет подпаском. А вы свои обязанности знаете, вам все ясно, – я к вам обращаюсь, Габриэль Оук?

– Да, все ясно, благодарю вас, мисс Эвердин, – отвечал Оук, не отходя от двери. – Если я чего-нибудь не буду знать, я спрошу.

Он был совершенно ошеломлен ее удивительным хладнокровием. Конечно, никому, кто не знал этого раньше, никогда бы и в голову не пришло, что Оук и эта красивая женщина, перед которой он сейчас почтительно стоял, могли быть когда-то знакомыми. Но, возможно, эта ее манера держаться была неизбежным следствием ее восхождения по общественной лестнице, которое привело ее из деревенской хижины в усадебный дом с крупным владением.

Примеры этого можно найти и повыше. Когда Юпитер со своим семейством (в творениях позднейших поэтов) переселялся из своего тесного жилища на вершине Олимпа в небесную высь, его речи соответственно становились значительно более сдержанными и надменными.

За дверью в передней слышались размеренные, грузные и в силу этого не слишком торопливые шаги.

Все хором:

– Вот и Билли Смолбери вернулся из Кэстербриджа.

– Ну, что вы узнали? – спросила Батшеба, после того как Уильям, дойдя до середины зала, достал из шляпы носовой платок и тщательно вытер себе лоб от бровей до самой макушки.

– Я бы раньше вернулся, мисс, да вот непогода, – сказал он, тяжело потопывая сначала одной, потом другой ногой; тут все уставились ему на ноги и увидели, что сапоги его облеплены снегом.

– Давно собирался, высыпал-таки? – сказал Генери.

– Ну что же насчет Фанни? – спросила Батшеба.

– Так вот, мэм, ежели так без обиняков прямо сказать, сбежала она с солдатами.

– Не может быть, такая скромная девушка, как Фанни!

– Я вам сейчас все как есть доложу. Я в Кэстербридже прямо в казармы подался, вот они мне там и сказали, что одиннадцатый драгунский полк недавно с постоя снялся, а на его место другие войска пришли. А одиннадцатый на прошлой неделе на Мелчестер выступил, а там, может, и еще куда дальше двинут. Приказ-то им от начальства нежданно-негаданно пришел, – ну так уж оно, видно, положено, как тать в ночи, – они, говорят, и опомниться не успели, мигом снялись, да и выступили. Говорят, мимо нас шли.

Габриэль слушал с интересом.

– Я видел, как они уходили, – сказал он.

– Да, – продолжал Уильям, – говорят, они там по главной улице этак лихо гарцевали, да еще с музыкой, и какой: «Покинул я девчонку». Все высыпали глазеть. А уж трубачи-то старались и барабан так гудел, что, говорят, все нутро у людей переворачивалось, а девицы ихние да собутельники в трактире на постоялом дворе, говорят, глаз не осушая, плакали.

– Но ведь они же не на войну ушли?

– Нет, мэм, но их отправили на место тех, кого, может, и на войну послали, а уж оно там одно с другим во как близко связано. Тут я, стало быть, про себя и решил, что Фаннин дружок не иначе как в том самом полку, а она, значит, за ним и ушла. Вот, мэм, все как по писаному и выходит.

– А вы его фамилию узнали?

– Нет, мэм, никто не знает. Похоже, он не просто солдат.

Габриэль помалкивал, задумавшись, у него на этот счет были кое-какие сомнения.

– Ну, во всяком случае, сегодня мы вряд ли что-нибудь еще узнаем, – заключила Батшеба. – Но так или иначе, пусть кто-нибудь из вас сбегает сейчас же к фермеру Болдвуду и расскажет ему то, что мы здесь слышали.

Она поднялась, но прежде, чем уйти, обратилась к собравшимся с маленькой речью; она произнесла ее с большим достоинством, а ее черное платье придавало ей солидность и внушительность, которой отнюдь не отличался ее язык.

– Так вот знайте, теперь у вас вместо хозяина будет хозяйка. Я еще сама не знаю ни своих сил, ни способностей в фермерском деле, но я буду стараться, как могу, и если вы будете хорошо мне служить, так же буду служить вам и я. А если среди вас есть еще мошенники и плуты (надеюсь, что нет), пусть не думают, что, если я женщина, так я не разберу, что хорошо, что плохо.

Все: Нет, мэм.

Лидди: Замечательно сказано.

– Вы еще не успеете глаза открыть, а я уже буду на ногах, я буду на поле, прежде чем вы подыметесь, вы только на поле выйдете, а я уже позавтракаю. Смотрите, я еще вас всех удивлю.

Все: Да, мэм.

– Ну, а пока до свиданья.

Все: До свиданья, мэм.

Вслед за этим маленькая законодательница вышла из-за стола и направилась к выходу, шурша по полу шлейфом своего черного шелкового платья и волоча за собой приставшие к нему соломинки.

Лидди, проникнувшись подобающей случаю важностью, шествовала за ней следом несколько менее величественно, но, во всяком случае, явно подражая ей. Дверь за ними захлопнулась.

Глава XI

У казарм. Снег. Свиданье

В этот снежный вечер, несколькими часами позже, унылая окраина маленького городка и военного поста в нескольких милях к северу от Уэзербери представляла собой самое безотрадное зрелище, если только можно назвать зрелищем нечто состоящее главным образом из мглы.

В такой вечер самый веселый человек может загрустить, и ни ему самому, ни другим это не покажется странным; в такой вечер у людей восприимчивых любовь превращается в беспокойство, надежда в сомнение, а вера слабеет и становится смутной надеждой; в такой вечер воспоминания о прошлом не будят сожаления об упущенных возможностях, не бередают честолюбия, а ожидание будущего не воодушевляет к действию.

Перед нами проезжая дорога, проложенная по берегу речки, налево по ту сторону речки высокая каменная стена, по правую сторону дороги голая равнина, луга, перемежающиеся болотами, а вдали на горизонте волнистая гряда гор.

В такой местности переход от одного времени года к другому не бросается в глаза, как где-нибудь в лесу. Однако для человека наблюдательного он не менее явствен. Различие в том, что перемены, совершающиеся на глазах, не столь привычны и обыденны, как появление и опадание листвы. Многие происходят совсем не так незаметно и постепенно, как казалось бы естественным для этой погруженной в спячку равнины или топи. Каждый шаг приближающейся зимы отпечатывался здесь явно и резко – попрятались змеи, потемнели, потеряли свои веера папоротники, наполнились водой бочаги, поползли туманы, ссохлась и побурела трава, гнилушки рассыпались в пыль, и все затянуло снегом.

Этой кульминационной стадии равнина достигла сегодня вечером, и в первый раз за эту зиму все ее неровности обрели расплывчатую, лишенную очертаний форму, она ничего не напоминала, ни о чем не свидетельствовала и не имела никаких отличительных признаков, кроме того, что казалось последним пределом чего-то другого – нижним слоем снеговой выси. Из этого необозримого хаоса мятущихся хлопьев на равнину каждое мгновение накидывалась новая пелена, и от этого она с каждым мгновеньем становилась все более обнаженной. Огромный, затянутый мглой купол неба, нависший необыкновенно низко, казался осевшим сводом громадной темной пещеры, продолжающим оседать все ниже и ниже; и вас невольно охватывал страх, что эта снежная подкладка неба и снежная пелена, окутывающая землю, скоро сомкнутся в одну сплошную массу и между ними не останется никакого воздушного пространства.

Налево от дороги тянулась какая-то плоская полоса – речка, за ней выступало что-то отвесное – стена, и то и другое было окутано мраком. И все это, сливаясь, создавало впечатление общей массы. Если можно было представить себе что-нибудь темнее неба – это была стена, а если могло быть что-нибудь угрюмее этой стены – это была река, бегущая под ней. Смутно вырисовывающийся верх здания там и сям прорезался клиньями и зубцами труб, а на фасаде, в верхней его части, слабо обозначались продолговатые прямоугольники окон. Внизу, вплоть до самой воды, лежала ровная мгла без выступов и просветов.

Какое-то непостижимое чередование глухих ударов, озадачивающих своим мерным однообразием, с трудом пробивая пушистую мглу, слышалось в заснеженном воздухе. Это башенные часы где-то совсем рядом били десять. Они были на открытом воздухе, и колокол на несколько дюймов занесло снегом, так что он на время лишился голоса.

Снегопад теперь понемногу утихал. Уже не двадцать хлопьев падало сразу, а десять, и вскоре на место десяти ложилась одна снежинка. Спустя некоторое время на краю дороги, у самой воды, появилась какая-то фигура.

По ее очертаниям, если приглядеться в темноте, видно было только, что она маленькая. Вот и все, что можно было различить, но, по-видимому, это все-таки была человеческая фигура.

Она двигалась медленно, но без каких-либо особых усилий, потому что снега под ногами, хотя он и выпал внезапно, было не так много. Она двигалась, произнося вслух:

– Раз, два, три, четыре, пять.

После каждого слова маленькая фигурка делала несколько шагов. Теперь уже можно было догадаться, что она считала окна наверху, в высившейся перед ней стене. Пять обозначало пятое окно с краю.

Здесь фигурка остановилась и вдруг сделалась чуть ли не вдвое меньше. Она наклонилась. И вот комок снега полетел через реку к пятому окну. Он шлепнулся о стену несколькими ярдами ниже намеченной цели. Бросать снегом в окно – это, несомненно, была мужская затея, приведенная в исполнение женщиной. Ни один мужчина, если он когда-то в детстве подстерегал птичку, зайца или белку, не мог бы так по-дурацки швырять в цель.

Затем последовала еще попытка, и еще, и еще, пока мало-помалу вся стена не покрылась приставшими комьями снега. Наконец один комок попал в пятое окно.

Речка, если поглядеть на нее днем, была из тех глубоких, спокойных речек с ровным течением, которое, если что-либо замедляло его бег, сейчас же старалось преодолеть препятствие, образуя маленький водоворот. Сейчас, кроме тихого журчания и всплескивания одного из этих невидимых водоворотиков, не слышно было ничего, никакого ответа на сигнал, если не считать долетавших откуда-то слабых звуков, которые грустно настроенный человек уподобил бы стонам, веселый – смеху, на самом же деле это просто вода хлупала обо что-то вдали.

Еще комок снега ударился в стекло.

Затем послышался стук открывающегося окна, после чего оттуда раздался возглас:

– Кто это?

Голос был мужской, нисколько не удивленный.

Высокая стена была стеной казармы, а поскольку к бракам в армии относились снисходительно, то, по всей вероятности, свиданья и сообщения через реку были делом обычным.

– Это сержант Трои? – дрожащим голосом спросила чуть видная тень на снегу.

Это существо было так похоже на тень, а тот, наверху, до такой степени слился с самим зданием, что казалось, стена ведет разговор со снегом.

– Да, – осторожно ответили сверху из темноты. – А кто вы, как вас зовут, девушка?

– О, Фрэнк, разве ты не узнаешь меня? – отвечала тень. – Я твоя жена, Фанни Робин.

– Фанни! – воскликнула стена в полном изумлении.

– Да, – пролепетала девушка, едва переводя дух от волнения. Было что-то такое в ее голосе, что не вязалось с представлением о жене, и по его манере говорить трудно было предположить, что это муж. Разговор продолжался.

– Как ты добралась сюда?

– Я спросила, которое окно твое. Не сердись на меня.

– Я не ждал тебя сегодня вечером. По правде сказать, мне и в голову не приходило, что ты можешь прийти. Это просто чудо, что ты меня разыскала.

Я завтра дежурю.

– Ты же сам сказал, чтобы я пришла.

– Да я просто так сказал, что ты можешь прийти.

– Я так и поняла, что могу прийти. Но ведь ты рад видеть меня, Фрэнк?

– О да, конечно.

– Ты можешь сойти ко мне?

– Нет, дорогая Фанни, никак не могу. Уже вечерний сигнал давно протрубили, ворота закрыты, а увольнительного пропуска у меня нет. Мы здесь все равно как в тюрьме до завтрашнего утра.

– Значит, я тебя до тех пор не увижу? – Голос ее дрогнул, в нем слышалось глубокое отчаяние.

– Как же ты добралась сюда из Уэзербери?

– Часть пути я шла пешком, кое-где меня подвезли.

– Вот удивительно.

– Да, я и сама себе удивляюсь. Фрэнк, когда это будет?

– Что?

– То, что ты обещал.

– Я что-то не помню.

– Нет, ты помнишь! Не говори так. Если бы ты знал, как мне тяжело. Ты заставляешь меня говорить о том, о чем ты должен был бы заговорить первый.

– Ну, не все ли равно, скажи ты.

– Ах, неужели мне придется... Фрэнк, ты... когда мы с тобой поженимся, Фрэнк?

– А, вот о чем. Ну знаешь, ты сначала должна позаботиться о свадебном платье.

– У меня есть деньги. Это будет по церковному оглашению или по свидетельству?

– Я думаю, по оглашению.

– А мы с тобой в разных приходах.

– Разве? Ну и что же?

– Я живу в приходе Святой Марии, а у вас тут другой приход. Значит, огласить должны и там и тут.

– Это такой закон?

– Да. Ах, Фрэнк, я боюсь, ты считаешь меня назойливой. Умоляю тебя, дорогой Фрэнк, не думай этого, я так тебя люблю. И ты столько раз говорил, что женишься на мне... а я... я...

– Ну не плачь, что ты! Вот это уж совсем глупо. Раз я говорил, значит, так оно и будет.

– Так, значит, я могу подать на оглашение у себя в приходе, а ты подашь у себя?

– Да.

– Завтра?

– Нет, не завтра. Мы сделаем это через несколько дней.

– У тебя есть разрешение от начальства?

– Нет, пока еще нет.

– Ах, ну как же так. Ты ведь мне сам говорил, что ты его вот-вот получишь, еще когда вы стояли в Кэстербридже.

– Дело в том, что я просто забыл спросить. Я ведь не думал, что ты придешь, для меня это такая неожиданность.

– Да, да, правда. Я знаю, это нехорошо, что я тебя так донимаю. Я сейчас уйду. А ты придешь ко мне завтра на Норс-стрит, дом миссис Туилс, правда? Мне не хочется приходить к вам в казармы. Тут столько гулящих женщин, и меня за такую посчитают.

– Может статься... Я приду к тебе, дорогая. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Фрэнк, спокойной ночи!

И снова послышался шум закрывающегося окна. Маленький комочек двинулся в темноту, а когда он уже почти миновал казарму, за стеной послышались приглушенные возгласы.

– Ого, сержант, ого-го! – Затем тут же протестующий голос, и все это потонуло в захлебывающемся, сдавленном хохоте, который уже трудно было отличить от тихого журчания и всплесков маленьких водоворотов на реке.

Глава XII

Фермеры. Правило. Исключение

Первым наглядным доказательством решения Батшебы фермерствовать самолично, а не через доверенных лиц было ее появление на хлебном рынке в Кэстербридже в ближайший ярмарочный день.

Низкое, просторное помещение, крытое бревнами, опирающимися на массивные столбы, недавно получившее почетное наименование Хлебной биржи, было битком набито возбужденно спорящими мужчинами, которые, сойдясь по двое, по трое, горячо убеждали один другого, причем говоривший, глядя куда-то вбок и прищурив один глаз, искоса, украдкой следил за лицом слушающего.

У большинства из них в руках был свежесрезанный ясеневый сук, то ли для того, чтобы опираться при ходьбе, то ли для того, чтобы тыкать им в свиней, овец или спины зевак, словом, во все, что мешало им по дороге сюда и в силу этого заслуживало подобного обращения. Во время беседы каждый проделывал со своим суком различные упражнения: то закидывал его за спину и, подсунув концы под руки, сгибал дугой, или, держа обеими руками за концы, придавал ему форму лука, или гнул изо всей силы об пол, а то поспешно засовывал под мышку, когда приходилось пускать в ход обе руки, чтобы высыпать на ладонь горсть зерна из мешка с образцами, тут же после оценки швырнуть эту горсть на пол, – обстоятельство, хорошо известное нескольким расторопным городским курам, которые незаметно пробирались сюда и в ожидании предвкушаемого угощения зорко косились по сторонам, вытянув шеи.

Среди этих дюжих фермеров скользила женская фигурка – одна-единственная женщина во всем помещении. Она была изящно и даже нарядно одета. Она двигалась между ними, словно легкая коляска между грузными телегами, голос ее рядом с их голосами казался нежным пением рядом с грубыми окриками, ее присутствие среди них ощущалось, как свежее дуновение ветра между пышущими жаром печами. Чтобы занять здесь такое же положение, как и все, требовалось проявить некоторую твердость характера, значительно большую, чем представляла себе Батшеба, потому что в первый момент, когда она только что появилась здесь, все разговоры и споры прекратились, все головы повернулись к ней и застыли, уставившись на нее изумленным взглядом.

Среди этой толпы фермеров Батшеба знала разве что двух-трех человек, и она прежде всего подошла к ним. Но раз уж она вознамерилась показать себя деловой женщиной, то надо было вступать в деловые отношения, независимо от того, знакома она с кем-то или нет, и, собрав все свое мужество, она стала обращаться и к другим, к людям, о которых она только слышала. У нее тоже были с собой мешочки с образцами зерна, и постепенно она тоже наловчилась высыпать зерно из мешочка на свою узкую ладонь и ловко, по-кэстербриджски, подносила его собеседнику для осмотра.

Что-то неуловимое в очертаниях ее полураскрытых алых губ, обнажавших ровный ряд верхних зубов, и в приподнятых уголках рта, когда она, вызываяще закинув голову, спорила с каким-нибудь рослым фермером, говорило о том, что в этом маленьком существе таятся богатые возможности, которые могут ввергнуть ее в рискованные любовные авантюры, и что у нее хватит смелости пуститься в них очертя голову. Но в глазах ее была какая-то мягкость, неизменная мягкость, и не будь они такие темные, может быть, взгляд ее казался бы слегка затуманенным; на самом же деле он был остро-пронизывающим, а это мягкое выражение делало его бесхитростно-чистым.

Может показаться удивительным, что эта цветущая, полная сил и задора молодая женщина всегда позволяла своим собеседникам высказать свои соображения до конца, прежде чем выдвигать свои. Когда возникали споры о ценах, она твердо стояла на своей цене, как оно и подобает торговцу, и по свойственной всем женщинам манере настойчиво сбивала цену конкурента. Но твердость ее была не без покладистости, и этим она отличалась от упрямства, а в ее манере сбивать цену было что-то наивное, что никак не вязалось со скаредностью.

Фермеры, с которыми она не вела дел (а их было значительное большинство), спрашивали один у другого – кто это такая? И в ответ слышали:

– Племянница фермера Эвердина; унаследовала от него ферму в Верхнем Уэзербери; выгнала управителя и заявила, что всем будет заправлять сама.

И тогда тот, кто спрашивал, с сомнением качал головой.

– Да, жаль, конечно, что она такая своевольная, – соглашался собеседник. – Но мы-то здесь, право, должны быть довольны – она словно солнышко ясное светит в нашем старом сарае. Ну, да такая пригожая девушка, гляди, ее мигом кто-нибудь подцепит.

Было бы не совсем любезно предположить, что самая новизна ее присутствия здесь, в этой необычной для женщины роли, привлекала к ней внимание не меньше, чем ее красота и грация. Как бы там ни было, она возбуждала всеобщее любопытство, и что бы ни принес ей этот ее субботний дебют как фермеру в смысле продажи и покупки, для Батшебы-женщины он был несомненным триумфом. Впечатление, производимое ею, было настолько

сильно, что в нескольких случаях она инстинктивно воздержалась от заключения каких бы то ни было сделок, а проплыла королевой среди этих богов пашни, подобно маленькому Юпитеру в юбке.

Многочисленные свидетельства ее притягательной силы были особенно очевидны благодаря одному поразительному исключению. У женщины на такие вещи как будто глаза на затылке. Батшеба каким-то чутьем, не глядя, сразу обнаружила в этом стаде одну паршивую овцу.

Сначала это ее несколько озадачило. Будь на той или другой стороне явное меньшинство, это было бы вполне естественно. Если бы никто не взглянул на нее, она бы отнеслась к этому с полным равнодушием, – бывали такие случаи. Если бы глазели все, не исключая и этого человека, она приняла бы это как должное, – так оно случалось и раньше. Но в этом единичном исключении было что-то загадочное.

Она мельком отметила некоторые черты внешности этого строптивца. С виду это был джентльмен с резко очерченным римским профилем, смуглым цветом лица, казавшимся бронзовым на солнце. Он держался очень прямо, манеры у него были сдержанные. Но что особенно выделяло его в толпе – это чувство собственного достоинства. По-видимому, он не так давно переступил порог зрелости, за которым внешность мужчины естественно – а женщины с помощью искусственных мер – перестает меняться так примерно на протяжении двенадцати-пятнадцати лет: это возраст от тридцати пяти до пятидесяти, и ему могло быть любое количество лет в этих пределах.

Можно прямо сказать, что женатые сорокалетние мужчины очень охотно и расточительно мечут взоры на любые образцы весьма несовершенной женской красоты, встречающиеся им на пути. Возможно, – как у игроков в вист, играющих не на деньги, а из любви к искусству, – сознание того, что им при любых обстоятельствах не грозит страшная необходимость расплачиваться, весьма повышает их предприимчивость. Батшеба была твердо убеждена, что этот бесчувственный субъект не женат.

Когда торг на бирже кончился, она поспешила к Лидди, поджидавшей ее возле желтого шарабана, в котором они приехали в город. Лидди тут же запрягла лошадку, и они поехали домой. Покупки Батшебы – чай, сахар, свертки с материей – громоздились сзади и всем своим видом – цветом, формой, общими очертаниями и еще чем-то неуловимым – явно показывали, что они являются

собственностью этой юной леди-фермерши, а не бакалейщика и суконщика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/tomas-gardi/vdali-ot-obezumevshey-tolpy-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)